



Сергей Захаров

**КРАСНОЕ
СПОКОЙСТВИЕ**

Современная трагедия

Сергей Захаров

**Красное спокойствие.
Современная трагедия**

«Издательские решения»

Захаров С.

Красное спокойствие. Современная трагедия / С. Захаров —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-745408-1

«Повторяя про себя это „бежать“, он быстро достал из багажника и повесил на ремень брюк подаренный кривым Сантьяго кинжал в ножнах коричневой кожи. Бежать, бежать — так же привычно рука обхватила шейку приклада, и он потащил карабин наружу. „Некуда мне бежать“, — сказал он себе устало. Все вранье. Из себя не выскочишь и от себя не убежишь. „Бежать... Все сплошная ложь, все вранье, малодушие и вранье“, — и захлопнул багажник».

ISBN 978-5-44-745408-1

© Захаров С.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Утро в Барселоне	6
Глава 2. Монсе утраченная	15
Глава 3. Монсе Обретенная	25
Глава 4. Брат Алонсо	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Красное спокойствие Современная трагедия

Сергей Захаров

© Сергей Захаров, 2022

ISBN 978-5-4474-5408-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Примечание автора: все, о чем рассказывается в этой книге, за исключением сомнительной авторской лирики, основано на реальных событиях, имевших несчастье (или, напротив, счастье) произойти в Королевстве Испания в наши дни.

Глава 1. Утро в Барселоне

Барселона. 08—30

Предыдущая ночь, а с ней и предыдущая жизнь – все осталось там, за спиной, отсеченное, как гильотиной, жестким хлопком двери.

Конечно же, внизу они столкнулись с сеньорой Кинтана: та вовсю тархтела с продавщицей зеленой лавки, вислозадой марокканкой Изабель, но Пуйджа признала враз. Привычно подставив обе щеки Монсе, сеньора Кинтана взялась за него.

– А-а-а, вот и маленький Пуйдж! Тот самый Пуйдж, который в детстве ел тараканов, и мы всем домом не могли его отучить от этой ужасной привычки! Самый воспитанный мальчик на нашей улице – я всегда и всем это говорила! А как еще? Каждый год ты дарил мне розу в день Святого Георгия и ни разу, слышишь, ни разу не забыл! Потом ты, конечно же, вырос – вырос и стал такой же бесчувственной скотиной, как и все. А после и вовсе исчез со всей своей семейкой! Посмотрите-ка: маленький Пуйдж спустился с гор! Сто лет и сто зим! – вскричала она, чуть подшамкивая. – Как дела, малыш?

Пуйдж прикоснулся два раза губами к сухим, рельефным, как Центральные Пиренеи, щекам старухи. Благоухало от нее по-прежнему – сладкими, пряными до одури духами: запахом, напрямую тянувшим в детство.

Прямо на брусчатке мостовой, под лаковыми башмачками сеньоры Кинтана ерошились, умирая, четыре пальмовых ветви, и еще три, надломленные – лежали чуть в стороне, у измызганного, исчерненного веками камня стены. Пуйдж и сам не знал, зачем сосчитал их.

– Все-то вы, помните, Сеньора Кинтана – надо же! Спасибо, родители в порядке, – молвил вежливо он. – По-прежнему живут в Аркашоне, у большой воды. На позапрошлой неделе папа чинил крышу, упал и сломал ногу – сейчас не выходит из дому. Могло быть и хуже. Как поживаете, сеньора Кинтана? Как поживает дон Жозеп, и куда это вы его подевали?

– Вот шлюхин сын!! – она возопила октавой выше. – Сколько раз тебе говорила: не смей обращаться ко мне на «вы»! Я тебе что – старуха какая-нибудь?! Привет, Карменсита – и все дела! Когда ты, наконец, запомнишь!? Ишь ты, бабулю нашел! Надо же, большой Пуйдж навернулся с крыши... Как еще шею не сломал! Надо быть повнимательнее, так ему и передай! При его-то габаритах падать с чего-либо выше стула – сущее безобразие. Мужчина, хвала Деве Монсерратской, видный, рослый, и весу немало: если не беречь себя и носиться очертя голову по крышам – так недолго и копыта отбросить! Пусть выздоравливает и впредь будет осторожнее – так ему и передай! А то я всех переживу. А на «вы» меня называть не смей! Сколько раз тебе еще повторять? Слышишь – не смей!

– Ладно-ладно, Карменсита, ты успокойся! Спокойнее, спокойнее, ладно? – сказал, улыбаясь, он. – Расскажи лучше, чем это ты тут хвастаешь на всю улицу.

– А вот это видал!? – она проворно сунула в самые глаза Пуйджу сомнительного вида огурец.

– И это еще не самый большой! Со своего огорода! Урожай небывалый. Не-бы-ва-лый! Не припомню такого со времен Франко, когда все стоило дешево, а деньги были дорогими, и зарабатывали мы хоть куда! Да, и не спорь – я всегда это говорила – потому что так и есть! И плевать мне, что дон Пепе, твой распрекрасный дед, упокой Господи его душу, воевал на стороне Республики! А огурчики небывалые! Такие огурчики я собирала лишь однады, в 62-м – том самом 62-м, когда в Барселоне выпал снег! И не просто выпал – а выпал и лег! Представляешь – снег в Барселоне! Хотя откуда вам, молокососам, знать... Надо же, большой Пуйдж навернулся с крыши... Вот и мой Жозеп, хе-хе... Правда, здесь все много серьезнее. Мой старик был бы рад тебя повидать, малыш – если бы не лежал уже третий месяц на кладбище

Побле Ноу. В день похорон был сильный дождь, настоящий ливень: это сам Господь вездесущий и милосердная Богородица заливались слезами, зная, что теперь и на небесах никому не будет покоя – раз уж туда пожаловал мой Жозеп! Да-а-а... Ты так редко бываешь здесь, мальчик, что многое успевает измениться. Вот только наша Монсе по-прежнему хороша! Настоящая красавица!

Ритуал оставался неизменным. Всякий раз сеньора Кинтана – без малейшей, впрочем, злобы – припоминала Пуйджу, что дед его был красным (сама она, в чьих венах бежала отборная голубая кровь, не переносила коммунистов, анархистов и «прочую кровавую шушеру» на дух). И всякий раз она жутко возмущалась, когда Пуйдж обращался к ней на «вы», и всегда обязательно нужно было нахваливать какую-нибудь дрянь, выращенную сеньорой Кинтана собственноручно на двух сотках каменистой земли под Барселоной.

И он хвалил, как хвалил всегда; и позже, когда они-таки распрощались с ней, прошлись улицей Трех Кроватей, насквозь провонявшей бедностью и мочой, и расположились на Королевской площади, в баре «У тетушки Анны» (том самом, единственном в районе, где подают настоящие масляные круассаны, и где сама тетушка Анна, знакомая, кажется, со всей Барселоной, обязательно с вами наименее приятным образом побеседует) – он все вспоминал крикливую старуху и улыбался.

...До чего же постоянная старушенция! Когда я появился на свет, Карменсита уже была вполне взрослой испанской девочкой лет пятидесяти. А сейчас, поди, ей все девяносто – я ведь тоже родился не вчера.

В тот день, 20-го ноября 1975-го, отец, который вечно обо всем забывал, сбился с ног, пытаясь найти в магазинах хоть одну бутылку кавы (каталонского шампанского): умер каудильо Франсиско Франко, и Графский Город, его ненавидевший, откровенно ликовал.

Все, что могло пениться и стрелять, за два часа смели с прилавков начисто – рассказывал потом Пуйджу отец. Если бы не дед Пепе, старый ленинец, у которого на этот как раз случай была припасена полдюжина бутылок «Анны Кодорню» – нечем было бы и отметить два великих события: рождение Пуйджа и смерть диктатора. Всебарселонский горлопанистый восторг по поводу кончины генералиссимуса сеньора Кинтана не разделяла – скорее наоборот, но от выпивки отказываться и не думала: надо же было обмыть новорожденного!

И, сколько помнил Пуйдж, с самых малых ногтей, всегда сеньора Кинтана – это Средиземное море шума и тот самый, сладкий и пряный, обнимающий дурманым облаком запах. Шумное колдовство – вот что такое сеньора Кинтана! И эти ее духи, от которых вскачь пускается ошалевшая голова!

Как-то ему даже здорово влетело от матери, когда он в домашнем разговоре назвал сеньору Кинтана ведьмой. И правильно влетело – ну, какая она ведьма?

Обедневшая аристократка, дочь проигравшегося в карты и застрелившегося прямо в казино на проспекте Параллель барона – это да.

Жена сомнительного адвоката, чьими услугами пользовался мелкокриминальный барселонский низ – это пожалуй!

Хозяйка крошечной дамской парикмахерской на площади Ангела – да, и еще раз да! Не барское, прямо скажем, занятие – мыть, стричь, завивать и укладывать чужие волосы, но проделывала это сеньора Кинтана с таким великосветским шиком, что клиентки, вползая к ней домашними черепахами, выносили себя гордо назад по меньшей мере графинями! А это женщинам ой как надо! Так какая же она, скажите, ведьма? Никогда и ничуть!

Впрочем, три десятка лет назад все воспринималось по-другому. И сеньора Кинтана – черная, высокая, полная, униженная сплошь светлым золотом, одуряющая шумом и невозмож-

ным запахом Рабана, в вопяще-алом жакете с поистине генеральскими аксельбантами – должно быть, действительно походила на ведьму.

Было время, она наклонялась к маленькому Пуйджу откуда-то из-под облаков, чтобы чмокнуть два приветственных раза – а теперь наклоняется он.

Было время, за спиной ее неизменно маячил сухой и серьезный, походивший на простуженного богомола дон Жозеп – бледная тень искрометной супруги, извечный ее придаток, самостоятельно, отдельно от сеньоры Кинтана никогда и никем не воспринимавшимся: как хвост ящерицы, или третья, выросшая непонятно зачем, нога...

Маленькому Пуйджу дон Жозеп напоминал, скорее, мудреное домашнее животное, обладавшее даром внезапной речи и способностью в самый неподходящий момент подкидывать собеседнику заковыристые, с обязательным подвохом и каверзой, вопросы – и наслаждаться потом его замешательством.

Тип, одним словом, был неудобный, как вылезший гвоздь в башмаке, но, по большому счету – совершенно безобидный. Впоследствии Пуйдж и вообще убедился, что такие, с вредностью нараспашку, люди – едва ли не лучшие из всех: от них-то уж точно камней за пазухой ждать не придется! Вся дрянь, что в них есть, они с готовностью вывалят наружу в самом начале, причем, безо всякого к тому приглашения, а там уж как знаешь: либо ешь ее с маслом – либо беги, как от чумы. Но в одном можешь быть уверен на все сто: больше никаких неприятных сюрпризов не будет.

Куда опасней другие – из тех, что подъезжают на медовых колесах, облизывают шоколадным языком, в глаза и в уши тебе льют ведра патоки – а там, стоит тебе чуть расслабиться, миг покажут истинное свое нутро, да такое, что не возрадуешься! Не-е-ет, дон Жозеп был не из таких! И улыбался колючий старик хорошо: редко, но на редкость же солнечно для мрачного себя.

Представить эту чету порознь было невозможно – а теперь вот старуха одна, без придатка. Без третьей ноги – или без хвоста. Хвост отвалился и больше не отрастет – а оказывается, он был все-таки нужен...

Да и от самой сеньоры Кинтана осталось не так чтобы и много: облегченный донельзя костяной каркас, обтянутый сильно изношенной кожей, пара сумасшедших глаз на откровенном черепе, облачко редкое крашенных в платину волос – но осталось все!

Осталось все: шум, запах, саморощенные огурцы, которыми она по-прежнему хвастает так, будто получила за них Нобелевскую премию; осталось ее вечное «маленький Пуйдж» и даже цвет жакета, пламенный, как и всегда...

И в этом вся суть, сказал он себе. В этом вся суть – сеньора Кинтана знает, как жить. Знает секрет, который ведом и Пуйджу, и всякому другому истинному каталонцу, и секрет этот заключен в одном неброском, вроде бы, но наиглавнейшем слове: спокойствие.

Спокойствие. Спо-кой-стви-е. С-п-о-ко-й-с-с-с-т-в-в-и-и-е – и еще раз спокойствие. В этом вся соль.

Ведь что такое, по большому счету, спокойствие? Это искусство жить днем сегодняшним, здесь и сейчас. Не торопиться. И не отставать. Просто жить – со временем в ногу. И дышать – со временем в такт.

Отставать нельзя. Потому что прошлого нет: оно потому и зовется прошлым, что уже прошло, про-ехало, про-бежало, про-катилось по небосводу, про-висело еще семь минут над зверем моря: далекий, уже нежаркий багровый шар – и про-валилось, про-пало в бескрайней воде. Да, да, все так: темнеющие обвальными минутами, всплеск далекий – и нет ничего. Прошло. Разве что потом, потом, в глубокой седой зрелости – воспоминания редкие, вечерние, под настроение, лучше всего – с человеком хорошим и хорошим вином. Воспоминания... Не пламя, но отсвет его на далекой стене; не огонь – а дотлевающие угли прогоревшего костра. Угли, обращающиеся неумолимо в пепел. Вот именно – пепел и есть! Тлен, прах и пепел.

И ворошить его без особой нужды – значит, жить небытием и воровать у себя жизнь настоящую. Не-е-ет, отставать нельзя!

И спешить нельзя. Это еще бОльшая глупость! Самая, может быть, большАя из придуманных глупостей.

Потому что будущего нет тоже. Нет, и никто не знает, каким оно будет – тем более, в спятившем с ума двадцать первом от Рождества Христова столетии. Но одно известно наверняка: уже придуманы одинаковые секунды, месяцы, годы – придуманы и запрятаны в саркофаги часовых корпусов. Приложи ухо, приложи и прислушайся: бу-дет, бу-дет, бу-дет, бу-дет...

Слышишь, как шелкает? Щелк, щцелк, щццелк – с нежным подзвоном пружинки и неумолимостью палача. Щццелк, щццелк, щелк – механическими мерными шагами. Как будто смерть шагает дальним коридором. Не от тебя – к тебе. И каждый шаг-щелчок – минус одна. Минус одна секунда твоей жизни. Сколько там их, закрученных в тугую жесткую спираль – кто знает? Будущее не дано знать никому, но одно известно наверняка: там, в этом всегда неизвестном, не наступившем, а значит, и не существующем, будущем, оставшихся щелчков – гораздо меньше, чем сейчас, а вот червей, ожидающих твоей мертвой плоти – не в пример больше. Это всякому должно быть понятно. Так зачем же гадать о том, чего нет, но от чего все ощутимее пахнет смертью?

Прошлое – пепел и тлен, и будущее – тлен и небытие.

Единственное бытие – настоящее: из плоти, крови и солнца; из чарующих ароматов жареных рыб и гадов морских в обеденный час над Барселонетой; из снежных парусных треугольников над средиземной водой и знакомых с детства звуков дудочки точильщика ножей поутру; из раскрытой ждущей розы влагалища и вскриков гортанных той, кого ты считаешь лучшей женщиной на земле и в прилегающей вселенной; из лая звонкого Пенелопы, когда она берет след, и кислото-ядреного запаха пороха из горячего еще от выстрела ствола; из свежести близкого снега, когда ты выходишь вечером на террасу курить – и немного восторга, когда ты видишь поутру, как он лег, впервые в этом году, на громоздящиеся в небо пиренейские вершины...

О настоящем нет нужды вспоминать, и гадать о нем тоже не нужно – им нужно жить. Жить сегодня, здесь и сейчас. Жить в настоящем мире. Только такой мир – прекрасен и сущ, и единственно верен! В этом мире ты берешь красивую, в соку, женщину одиннадцать раз за ночь, и в одиннадцатый раз – как в первый. Для этого, собственно, ночи и существуют.

А утро? Невозможно себе представить утро без кофе, без чашки ядреного кофе и круасана – горяченького, только из печи, пахнущего счастьем, детством, бессмертием, которое только в детстве нам и доступно...

И сидеть в этом кафе нужно обязательно с другом. А еще лучше – с женщиной. С хорошей женщиной. С красивой женщиной – и тебе не чужой. Совсем, можно сказать, не чужой! Да что говорить – с родной и лучшей женщиной на земле! С женщиной, которая, благодаря тебе, орала всю ночь, будто убивают ее до смерти – но таки выжила и осталась, более того, довольной...

... -Это точно! До предела. Давно я такого не припомню! – оказывается, все это время он бормотал вслух, а Монсе терпеливо внимала.

– Пуйдж, Пуйдж... И откуда в тебе столько силы? Это шторм, ураган, цунами, буря и натиск, это что-то невозможное, Пуйдж! Похоже, давненько у тебя женщины не было, – заметила не без лукавства она. – Или дело во мне? А? Ну давай, признавайся – дело во мне? Я ведь еще ничего, Пуйдж? Знаю-знаю, ты вчера тысячу раз успел рассказать, какая я красивая. Скажи, ты и вправду так считаешь? Хотя не только ты, точно. Знаешь, у меня клиентов за день в два раза больше бывает, чем у каждой из этих «креветок»! И постоянных, представь, хватает. Кое-кто и с подарками приезжает: один фермер из Лериды на прошлой неделе хар-р-роший такой хамон приволок. Вот сумасшедший, он бы еще с целой свиньей приехал!

Монсе хрипловато рассмеялась, улыбнулся и он, отматывая время на два часа назад. Не след копать в прошлом, тем более, таком недалеком – но сейчас самое время. Сейчас

можно, хотя бы потому, что я не знаю, сколько у меня осталось его вообще – этого самого времени. Да и приятно, черт побери, вспоминать – о том, что было два часа назад – вспоминать, проживая еще раз.

... Два часа назад он открыл глаза после краткого сна оттого, что тихий убедительный голос, к которому за две недели он успел уже привыкнуть, над самым ухом его произнес: «Красное спокойствие, красное спокойствие». Вот так, через короткую паузу – два негромких внушительных раза: словно краткая молитва, смысл которой, до поры от него ускользавший, с каждым утром становился все более ясен и строг, как обжалованию не подлежащий приговор.

Все, как всегда, разве что проснулся он сегодня не у себя в Сорте, а в Барселоне, в квартире Монсе, в кровати Монсе, в объятиях Монсе, и сразу вспомнилась вся долгая ночь: жаркая, всхлипывающая, мокрая, сумасшедшая, перетекшая незаметно в рассвет – прекрасная, одним словом, ночь!

Монсе уже не спала. Кофемашина, благоухая бодростью, протарахтела дважды и выдала две чашки крепчайшего кофе.

Они покурили на узком, в полторы ступни, балконе – стоя на нем, легко можно было, протянув руку, поздороваться с соседом в доме напротив – и улеглись снова, болтая о том, о сем.

Крепким, упрямым, как сверло, пальцем, Пуйдж, параллельно беседе, тиранил телевизор – и притормозил, оставив канал новостей.

– ... Еще одна жертва ипотечного кризиса, на этот раз в Таррагоне. Мать двоих детей, лишившаяся работы и оказавшаяся не в состоянии погашать ипотечный кредит, выбросилась из окна квартиры на пятом этаже, когда приставы в сопровождении полицейских приступили, в соответствии с решением суда, к принудительному выселению. Это уже двадцать восьмой подобный случай за месяц в целом по стране, и двенадцатый – в Каталонии... – неожиданно громко и весело сказали, как пролаяли, из окна телевизора, и Пуйдж, наострив ухо, секунду-другую еще послушал, хмыкнул, стрекотнул большим кузнечиком, приглушил звук и продолжил:

– ... А Пенелопу отдал Моралесу. Мужу Монсе из Равалья – теперь уже бывшему. Ну, этому: с заячьей губой и одним яйцом. Несчастный случай на охоте – я рассказывал. Да знаешь ты его, и Монсе помнить должна: как-то мы ужинали с ними в «Саламанке», перед Рождеством – там я вас и познакомил. Ты вспомни, вспомни – у нее еще левый глаз чуть косит. Мне этот ее глаз никогда не нравился. Когда она ушла от Моралеса, я даже не удивился: я знал, что так рано или поздно случится. И Моралес знал тоже. Знал и боялся. Уж очень она независимая! Что называется – себе на уме. И яйцо здесь ни при чем: детей Моралес и с одним настрогает хоть дюжину. Зачем вообще, по-твоему, природа наделила нас двумя? Яйцо – лишь повод. Причина другая – все эти феминистские штучки! Моралес, видишь ли, по ее мнению, «мачиста»... Теперь она живет с этим бродягой Мексиканцем, зато у Моралеса прибавилось места, и, конечно, остались его собаки. А теперь еще и моя Пенелопа...

– Не знаю никакого Моралеса! И ничего ты не рассказывал! Снова перепутал меня с какой-то из своих баб! – возмутилась женщина. – А Монсе у меня знакомых – пруд пруди! Я сама, между прочим, Монсе! Не помню и не знаю. И пса твоего забрать не могу: у меня работа – ты знаешь. А собака – не человек: ей тепло нужно, уход. Ее любить надо, наконец. А когда мне еще и собак любить-то?! И надо же, придумать такое – я знаю Моралеса! Бред!

Монсе, прикрыв глаза, чуть разведя согнутые в коленях ноги, полулежала на низкой и широкой, в полкомнаты, кровати: вылитая «Даная», не Рембрандта, но Тициана – сказал бы

поднаторевший за последние месяцы в живописи Пуйдж. «Даная» и есть – разве что постарше, посмуглее да грудью обильнее.

Снова захотелось – исступленно, до дрожи – туда, в радостную женскую глубину, и он перекатился ближе.

– Эй-эй, спокойно, э? Не знаешь и не знаешь. И черт с ним. Сердишься-то чего? Собаку я уже пристроил, – возразил он. – Моралес за ней приглядит. Человек он хороший, и охотник – каких поискать! Тем более, что одно яйцо у него все-таки осталось. Этого достаточно. Долго в холостяках он не задержится. Говорят, Мексиканец бьет Монсе почему зря – хоть и не «мачиста»... Глупо было бы ожидать от Мексиканца иного. А Моралес, между прочим, пальцем ее никогда не тронул. Гм... Поэтому, должно быть, она от Моралеса и ушла. Слушай, давай еще раз – не могу я на тебя просто так смотреть! Какая же ты у меня красавица – и только хорошеешь с годами!

– Да уж, задница... – протянула недоверчиво она. – За полгода шесть кило наела – и согнать никак не могу! Ладно, ладно: где там твой «альмогавар»? Мой «альмогавар» – так точнее будет. Эй, проснись, оружие! Пр-р-р-оснись, ор-р-ружие!! Ну, есть еще порох в пороховницах? – она с намеренной, чтобы раздражить и подмучить, ленцой, опустилась по подушкам ниже, развела ноги на самую чуть шире и замерла, ожидая. Загнутый крюком, непомерно толстый в основании «Альмогавар» Пуйджа жаждал войны и высекал снопы ярко-малиновых густых искр.

За стеной упало и покатилося тяжелое, закричали пугающим хором дети мавров. По стеклу скользнул оранжево-красный всполох.

– Задница и должна быть такой. Ты худеть даже не вздумай! Лучшее в женщине – это задница, и она у тебя есть! Возьми Сальвадора Дали – обожал рисовать задницы, а между прочим – знаменитый художник! Да что говорить: наш человек, каталонец – понимал в этом толк! – Пуйдж даже охрип от нетерпения, и слотнул два раза слюну, подбираясь к ней волосатым коварным Зевсом, а дальше слова уже не требовались – зачем слова, когда рядом два жадных друг до друга тела, ведущие свой разговор на понятном в полкасанья языке? И закипели оба так же – в половину касания, но тянули, мучили, пытали друг друга сладкой пыткой – пока не иссякло окончательно терпение у обоих.

«Альмогавар» вошел безукоризненно точно, на всю тугую и влажную, подчвыкнувшую ждущу глубину: так входит по гарду в живую плоть направленный крепкой рукой клинок – и тут же Пуйдж извлек его целиком, ощущая на обратном ходу упругий охват – извлек, чтобы всадить снова и снова. «Альмогавар» его ярился, вибрировал и звенел от ждущей и ищущей высвобождения белой силы – оружие проснулось, и битва, одиннадцатая по счету, обещала быть жаркой.

– Да-ли! – женщина пыталась говорить в такт. – Твой Да-ли дав-но умер и л-лежит за стеной жен-н-ского туалета. Тоже мне – Да... ли. Да-а... ли. А-а-а, как хо-рошо, хоро-шо, хо-рошо... Ты толь-ко не спе-шии...

А он ничуть и не собирался – спешить. Делал свое ритмичное дело – наслаждаясь и не торопясь. Вот именно – наслаждаясь. Вот именно – не торопясь. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Спа-а-к-к-ойно! Спокойно и еще раз спокойно. Потому как главное в жизни – это спокойствие. Спокойствие, которое сохраняешь в себе всегда – и даже сейчас, когда сопишь ноябрьским вепрем, дорвавшись до отвоеванной только что самки. Не каталонцу трудно будет понять, как такое возможно, но Пуйдж был каталонцем – и с пониманием этим родился.

Монсе закричала хрипло и глубоко, выругалась несколько раз с особой яростью – тогда кончил и Пуйдж, но вышел из Монсе не сразу: не хотелось ее отпускать.

И после они полежали еще – десять, двадцать минут, а может быть, полчаса – обнявшись и вместе, слушая сердца друг друга и ни слова не говоря. Зачем слова, когда лежишь с любимой

женщиной, сплетясь и слепившись в единое существо и тебе хорошо? А когда тебе хорошо, и, тем более, так хорошо – зачем слова?

Вообще, замечательные получались сутки – а иного и быть не могло. Вечер, ночь, утро, день и вечер: это как камень пустить по склону горы и наблюдать, как делается тот все дальше, набирая веселый ход – вплоть до всплеска в холодной реке на самом донце ущелья.

Впрочем, до вечера и всплеска было еще далеко: и тогда, и сейчас – в кафе у тетушки Анны.

... Колокол Святой Евлалии на часовой башне Кафедрального Собора прозвонил девять раз. Звуки ударов его, обгоняя друг друга, прыгая по замшелой черепице готических крыш, уносились к морю и тонули нехотя в синей воде, далеко за молами Берселонеты.

Графский город, славный город – Барселона. И сердце ее, продолжающее глуховато, ритмами рваными, стучать – Готический квартал. Древний город, вечный город... Дряхлый город – а как без этого? Две тысячи лет – серьезный срок.

Здесь – в Готическом квартале, в районах Борн и Раваль, в противовес буржуйскому Эйшампле или элитно-аристократическому Педралбес, обретались проституты и проститутки, педерасты, трансвеститы и транссексуалы, мелкие наркодиллеры, карманники и прочее жулье всех и всяческих мастей – в чарующей вони марихуаны, в привычных миазмах канализации и построенных в кровавые века домах, на улочках в размах рук шириной...

Здесь, в сотнях дешевых отелей и тысячах еще более дешевых апартаментов бесконечно вертящейся сумасшедшеглазой каруселью сменяли друг друга сотни тысяч молодых, романтически настроенных разгульных интуристов, каких неукротимо тянул к себе терпкий, с душиком, аромат запретных удовольствий: ими, что и говорить, Старая Барселона славилась всегда.

Выйдя на те же пресловутые Бульвары, по которым среди разноязыкой толпы курсировали от площади Каталонии к Колумбу и обратно вежливые городские полицейские, за пять минут можно было купить все: от свежееукраденного у английского туриста айфона последнего поколения до двухметрового, атлетически сложенного педераста-негра с голубыми зубами и совершенным знанием японского языка.

А сойдя и углубившись чуть в сторону по одной из кривых тесных улочек, вы тут же попадали в царство узаконенной марихуаны: больше сотни официально зарегистрированных клубов любителей веселой травы украшали этот криминальный оазис Барселоны.

Впрочем, и без клубов дурманящим дымком подтягивало, в особенности вечерами, отовсюду, а горбатые добродушные морды верблюдов из папье-маше, торчавшие там и здесь из публичных заведений наружу, безошибочно говорили искушенному знатоку: да, здесь можно купить! Что уж говорить, если даже монументальная колонна Колумба красовалась разудальными листьями конопли!

Для тех же, кто искал забвения покрепче, на выбор предлагались самые разные смертельные порошки и снадобья мира – от классического, возлюбленного Фрейдом кокаина до новейших дьявольских разработок экспериментальной химии: знай, плати, приближай дрожщую гибель!

Спустившись по грязным, с разноцветными парусами застиранного в дыры тряпья каньонам улиц Равалья пониже и поближе к воде, в квартале красных фонарей можно было лицезреть поразительный барселонский паноптикум жриц продажной любви – страшнее и забавнее которых не предлагал ни один город и порт мира!

И всюду, всюду: на улицах и площадях, в арках и подворотнях – всюду и везде мелькали одинаковые лица безлико одетых особей мужского племени: одинаковые прежде всего плохо скрытым злым охотничьим азартом в замутненных бусинах глаз. И губы у них были одинаково

схлопнуты в полосу, и, даже не видя, можно было не сомневаться: стоит любому из них распахнуть рот – у каждого обязательно обнаружится одинаковый арсенал кривых и хищных, как у барракуды, зубов.

И точно так же, как барракуд привлекают и провоцируют на атаку блестящие предметы подводных пловцов, типов этих, барселонских жуликов, патологически влекли к себе ценные вещи и деньги других людей – и даже огромное отделение городской полиции, расположенное прямо на Рамблас и глубоко вдававшееся в этот самый Раваль, не мешало охоте без края и конца.

Но так ведь и должно быть! Кому не известно, что полицейские и жулье существовать друг без друга не могут, они так же неразрывно слеплены в одно целое, как две стороны одной монеты, и всего расстояния между ними между ними – ребристая дорожка монетного гурта.

И для тех, кто ехал сюда не на неделю, а навсегда, именно Старый город становился первым полустанком на долгом непредсказуемом пути.

Здесь, в почти не пригодных для жизни средневековых халупах, по четыре семьи в квартире, находили приют бледные, приехавшие по туристической визе эмигранты из России, изгнанные с суровой родины нищетой и дефолтом, привлеченные в Барселону солнцем, морем, ощущением вечного праздника, благоприятными условиями легализации и большими надеждами на райскую жизнь – и лучшая их половина, готовая, стиснув зубы, терпеть и не чуравшаяся любой, самой тяжелой и грязной, работы – а другой здесь и не предлагали – действительно попадала со временем если не в рай, то в далекие его окрестности.

Таких россиян испанцы привечали, да и как иначе: люди ответственные, серьезные, исполнительные и работающие, да и традиции-обычаи новой родины они охотно принимали и усваивали нараз.

Что до второй половины – многие из них, незаметно и быстро профукав привезенные с родины деньги на всякие новоприятные глупости и оставшись ни с чем, так и не смогли толком устроиться в каталонской реальности, и бесполезным балластом тихо скользили-опускались на самое дно, чтобы пребывать там, в разлагающемся иле, до смертного конца.

Ехали и селились в старой Барселоне такие же измученные бедностью и госворовством украинцы: этих приезжало больше, да и сами они были похитрее, понаглее да поухватистей – потому и устраивались, как правило, быстрее и лучше, а устроившись, тут же подавались из Старого города прочь.

Еще вольготнее чувствовали себя румыны, молдаване, албанцы, армяне и грузины: девять десятых их приезжали сюда с конкретными нехорошими намерениями, прекрасно осведомленные о непростительной мягкости испанского уголовного кодекса в отношении кое-каких правонарушений – и быстро вливались в криминальную среду города.

Легко и артистично вспрыгивали на подножку веселого старобарселонского трамвая итальянцы: этим и вообще не нужно было ни к чему привыкать – ни к шуму, ни к многолюдью, ни к тесноте, ни к средиземноморскому менталитету, да и языки были близки... Работу они находили быстро, и, пусть платили здесь в среднем на четверть меньше, чем в Италии, зато и цены были – вдвое дешевле! Вот уже и прямая выгода, да вдобавок – и в какой добавок! – прекрасная Барселона.

И совсем уж просто было обосноваться здесь выходцам из Латинской Америки: эти имели изначально язык, никаких иллюзий не строили, быстро и не чинясь подыскивали себе самые неудобные и малооплачиваемые способы добычи денег, от которых коренное население, было время, воротило решительно нос, жили впроголодь, спали вповалку, зарабатывали на покупку жилья на родине, говорили нищавшему на глазах Королевству Испания «адьос» и уезжали с легким сердцем на историческую родину.

«На собственный домик мы уже накопили, а на хлеб и у себя как-нибудь наскребем!» – объясняли они. Особенно участились отъезды «братьев меньших» с началом кризиса. Местные

традиционно привечали только кубинцев, прочих же южноамериканцев недолюбливали, считая их недоиспанцами и, тем более, недокаталонцами – но терпели, как неизбежное и не самое страшное зло.

Однако все это, по сравнению с азиатским нашествием, были игры на детской площадке. Бесчисленными узкоглазыми армадами покоряли старую Барселону китайцы, да так активно, что Раваль в свое время прозвали даже «Китайским кварталом». У китайцев все было серьезно: неостановимой победной поступью они захватывали все сферы бизнеса, выдавливая оттуда созерцательных, не измученных любовью к труду и не способных, по большей части, конкурировать с ними испанцев.

Своим деловым, подчиненным железной дисциплине фанатизмом, лишенным морали и сентиментов, они были подобны иезуитам. Надолго в трущобах Старого города китайцы, впрочем, не задержались: окрепнув, они двинулись дальше и выше, подминая под себя респектабельный Эйшампле, а возросшие из среды их нувориши с легкостью и за баснословные деньги покупали роскошные модернистские виллы у склонов Кольсеролы, по соседству с футболистами «Барсы», каталонскими политиками, банкирами и младшей дочерью Короля, инфантой Кристиной.

Адвокаты у «новых китайцев» были самые лучшие и тоже свои, а машины – длиннее, шире, выше, блестящее и дороже, чем у обычных людей. И, когда случалось видеть вальяжно плывущий по Барселоне, исключительно розовый и неестественно длинный сверхлимузин, можно было не сомневаться даже – новокитайская свадьба!

Китайцы не дух не переносили латиноамериканцев, да и вообще всех, кто пытался вторгнуться в их бизнес или просто незаслуженно обидеть представителя Китайской Народной Республики. У таких «обидчиков», в особенности, если они совсем уж зарывались, были все шансы потерять голову – китайцы отрезали их с непревзойденным мастерством.

На прилавках же китайских магазинов раскинулся, благоухая ароматным дешевым пластиком и вредными красителями, весь украденный и клонированный узкоглазыми волшебниками мир – где все выглядело, как настоящее, а стоило впятеро, вдесятеро дешевле, временами не особенно отличаясь качеством от оригинала – положительно, конкурировать с китайцами было нельзя!

Но куда хуже всех прочих были мусульмане, бесцеремонной и бесконечно плодящейся саранчой заполонившие и продолжавшие заполнять Старый город. Эти пришли сюда не просить и побираться, но требовать и получать.

Эти рассматривали безбожно засранную ими старую Барселону, да и всю Испанию, как свою исконную территорию, земли могущественной когда-то исламской империи Аль-Андалус. Они не постучались в чужую дверь в поисках прибежища, нет – они вернулись к себе домой, чтобы восстановить раз и навсегда нарушенный было порядок: уничтожить ненавистный католицизм, а католикам, на выбор, либо отрезать головы, либо сделать их рабами, либо обратить в истинную исламскую веру – этим слепым, воинствующим неприятием всего неисламского и геометрической плодовитостью они особенно были страшны. Пуйдж не любил их даже больше, чем мексиканцев – и не стыдился себе в этом признаться.

И здесь же, в Старой Барселоне, среди разночинных эмигрантов, среди мерзкой криминальной накипи, в самом сердце долины греха, продолжало существовать и самое коренное, ветхозаветное, упрямое, правильное и нищее население Барселоны, и Пуйдж горд был тем, что он – отсюда.

Вот только возвращаться и жить в этом городе он ни за что не стал бы – ни раньше, ни теперь, когда это попросту невозможно...

Глава 2. Монсе утраченная

Барселона. 09—10

Кофе у тетушки Анны был чуть крепковат и с горчинкой, как и любил Пуйдж, а круассаны – наилучшие в Барселоне: свежайшие, на масле, с восхитительным ароматом утренней Франции... С золотом аккуратной поджарки снаружи, с нежно-белым нутром, тающие влет, как деньги во время отпуска, в дорвавшемся до праздника рту... Привычные с детства и такие же неизменные, как и римские стены, стоящие здесь со времен Октавиана Августа.

И тетушка Анна все такая же – тоже, кажется, со времен Октавиана. Во всяком случае, когда малютка Пуйдж постигал азы начального образования и зааживал сюда только с родителями, и, сидя, на террасе, всю болтал ногами – ибо до земли им требовалось еще дорасти – тетушка Анна выглядела в точности, как сейчас: слегка сумасшедшая, слегка пожилая красивая девочка, застрявшая в своих семнадцати – и не желающая упорно из них выбираться.

И глаза – распахнутые наивно и привыкшие радостно удивляться – глубочайшей синевы, не выцветшей с годами, глаза; и губы, всегда чуть приоткрытые в готовой спорхнуть с них полуулыбке; и этот, придающий ей ту самую сумасшедшинку парик Мальвины – как и сеньора Кинтана, тетушка Анна даже не думала сдавать позиции.

Разве что руки у ней трясутся много сильнее прежнего, отметил Пуйдж – вот, пожалуй, и все перемены. Зато память так же остра: мигом она повызнала у Пуйджа о всех его родных – ни разу не сбившись ни в одном имени. Давно уже не тетушка – бабушка, многожды прабабушка, и лет ей, прикинул он, как раз около девяноста, если уже не «за», ведь они с синьорой Кинтана примерно одного возраста – молодчина, что сказать!

Тетушка Анна – традиция, и круассаны ее – традиция.

А традиция и постоянство – закадычные подружки спокойствия...

...и моя закадычная подруга – Монсе! Хотя нет, не подруга – друзей Пуйдж трахать не привык. Не подруга – женщина! Удивительная женщина – каких больше нет. Настоящая женщина! Монсеррат. Монсе... Монсе – вот настоящая традиция! И – настоящая каталонка, упрямая, как десять каталонских ослов! Упрямая и не терпящая, когда ей пытаются что-то навязать...

Пока считалось хорошим тоном ругать каталанский язык – «деревенский», как его называли, Монсе стояла за него горой – однако после того, как ситуация в Каталонской автономии переменилась, и в опалу угодило все испанское, с тем же азартом, искренностью и напором Монсе бросилась защищать «кастильяно» – и в этом она вся! И плевать ей было с горы Тибидабо, какие ярлыки на нее навешают ее же бывшие товарищи – каталонские сепаратисты. И противоречия здесь нет ни на грош: просто Монсе всегда за тех, кого бьют, и бьют не по совести.

Пуйдж, думая о ней, не переставал улыбаться.

Монсе – его первая любовь... А первую любовь будешь помнить всегда. Вторая канет, от третьей хорошо, если останется горсть золы, не говоря уж о четвертой, пятой и всех последующих – с первой же все иначе. Эта самая «первая» – до бессонницы и удушья; до внутренних бессильных слез от неумения прокричать о ней так, чтобы тебя услышала та, единственная и одна; до ежесекундной, ноющей сладко боли; до безумных и бесконечных качелей над пропастью: от полного неверия к робкой надежде и обратно – словом, самая обычная первая любовь

сразила, словно слепо павший из космоса метеорит, маленького Пуйджа в четырнадцать лет – именно потому, что как раз тогда его одноклассница Монсе внезапно, за одно лето, выросла.

У девочек так бывает: еще в июне, перед каникулами, смеялась хрипловатым гортанным смехом, обсуждая на перемене какую-то ерунду с двенадцатью точно такими же, как она, подружками; еще в июне гонялась с визгом и топотом за товаркой по школьному двору и шепталась, набегавшись, с ней о чем-то ушко в ушко, делая большие глаза и таинственно улыбаясь – а в сентябре вошла в класс, и все ахнули: мальчики – от полнейшего восторга, а девчонки, остальные одиннадцать – от бешеной и горькой зависти.

Так вошла когда-то и Монсе, за одно лето переродившаяся в девушку, и какую, черт побери, девушку: вошла не только в класс, но и в сердца всех его товарищей-одноклассников. Почти непрозрачный туман, каким, казалось, все время до того окутана была она, разом рассеялся, и с предельной ясностью все увидели вдруг, что талия у Монсе – тонка, грудь – тяжела, попа – фигурна, а кожа, что так редко бывает у испанок и так высоко ценится испанцами – белей пиренейского снега. Ну, и как тут, скажите, не ахнуть?!

Началась повальная «Монсемания»: только ленивый не писал ей малограмотных записочек с разными гадостями, целью которых было одно: заставить эту внезапную принцессу смутиться, покраснеть, оскорбиться, вознегодовать – то есть, хоть как-то обратить внимание на писавшего; и только слепой, в конце концов, с высот подзаборного стиля не скатывался в лаконизм двух вечных слов, в написании которых ошибиться незозможно: «люблю тебя».

Не признавался только маленький Пуйдж, прекрасно понимая, что у него-то уж точно шансов нет: среди одноклассников он никогда не ходил в лидерах, скорее наоборот: при всей повернутости своей внутрь, при неконфликтности и неумении дать отпор более агрессивным и наглым, тихоня Пуйдж обретался где-то на самой периферии их внутриклассной иерархии, а точнее – почти вне ее: всегда в стороне и сам по себе. Он и сам-то всегда считал себя мямлей и слабаком – а что же тогда должна была думать о нем Монсе? Да ничего, скорее всего: несмотря на то, что жили они по соседству, Монсе маленького Пуйджа просто не замечала – слишком уж серым, совсем уж безмолвным камешком катился он незаметно по обочине подростковой жизни.

Еще более низвергало все его шансы в прах то, что слава о новоявленной красотке быстро разносилась по всей школе, и в битву за сердце соседки Пуйджа активно включились и старшеклассники, соперничать с которыми совершенно не представлялось возможным.

Да что там старшеклассники: совсем скоро на выходе из школы стали околачиваться и вовсе не имеющие никакого отношения к системе школьного образования юнцы неопределенного возраста – но определенно криминального вида. Юнцы эти, с узкими лбами и широкими жемами, дожидались, когда Монсе выйдет из школы, и молча, но агрессивно лапали ее похотливыми, в масле, глазами – пока молча и пока только глазами.

Верховодил среди них Мексиканец, мужчина лет восемнадцати, старший брат которого сидел в тюрьме за ограбление, отец сложил голову в пьяной, с поножовщиной, драке, а мать была одной из самых заслуженных проституток Равалья. Про самого Мексиканца рассказывали, что как-то на Барселонете он походя разбил нищему голову бейсбольной битой, только за то, что тот попросил у него в не добрый час сигарету, а однажды и вовсе ограбил и зарезал на пляже немецкого гей-туриста (по иной версии, двух) труп которого вывез ночью на катере знакомого рыбака за две мили от берега и, привязав к ногам голубого покойника украденный якорь, отправил его на корм фауне Средиземного моря.

Еще, по слухам, Мексиканец избивал свою мать и отнимал у нее львиную долю честно заработанных на панели денег, чтобы потратить их на дурь, патроны для своего безотказного «смит-и-вессона» и грошовые подарки для своих многочисленных «чик». Говорили, Мексиканец особенно любит девственниц, вначале высматривая их у школ, а затем, где сомнительным криминальным обаянием, где ничтожными дарами, где вовлечением в обманчивый наркорай,

а где и угрозами физической расправы совращая очередную сопливую дуру и делая ее на короткий срок своей «махой», чтобы, вскоре натешившись, уступить ее кому-нибудь из своей пристяжи. После нескольких кругов грязного мексиканского ада девчонкам чаще всего оставался один путь – на панель.

Если даже десятая часть всех этих ужасов имела отношение к действительности, Мексиканец был сущим демоном. Впрочем, чтобы убедиться в этом, достаточно было один раз увидеть его приветливое лицо: свирепоглазое, плосконосое, в оспинах и россыпи мелких шрамов на тяжелом, торчащем нелепо вперед, как выдвинутый ящик комода, подбородке.

Первое же явление Мексиканца на «смотрины» поменяло решительным образом все. Если раньше после занятий выстраивалась целая очередь из желающих донести школьный рюкзак Монсе до дома, то теперь, при виде смуглой рожи молодого бандита, маячившего с тремя товарищами в каменной арке свода, никто не осмелился подойти к ней.

Пуйдж хорошо запомнил, как стояла она, Монсе – красивая, как военный катер, и одинокая, как дочь палача – держа на весу рюкзак, из-за которого раньше уже возникла бы драка, стояла и не могла ничего понять, а потом, углядев Мексиканца – поняла.

Поняла – и надо было видеть, с каким презрением смотрела она на недавних, поджавших сейчас хвосты ухажеров! И какая гордая и бесконечно жалкая в то же время улыбка кривила ее губы – это надо было видеть тоже! Но Мексиканец, сам Мексиканец был здесь, и подойти к Монсе никто так и не рискнул.

Никто – кроме маленького Пуйджа. Не то, чтобы он оказался смелее прочих – этого не было и в помине! Тут другое: не мог он видеть раздавленную эту гримасу на ее лице – не мог, и все тут! Не мог он видеть руку ее с зеленым, как надежда, рюкзаком – тонкую изящную руку, клонящуюся все ниже и ниже под весом книжной мудрости – не мог, не хотел и не собирался видеть!

Предсмертно холодея и возносясь одновременно в рай, пугающий нестерпимым блеском одиночества, он протиснулся сквозь трусливую толпу, приблизился, принял, нахмурившись, ее книги и пошел, взяв ее за руку, истертым камнем площади к той самой арке, которой было не миновать.

Десятки мощнейших прожекторов, казалось Пуйджу, взяли его в плен и ярким до слепоты светом сопровождают на этом одиноком пути. Он и был один, не считая прилепившейся к нему Монсе – как шест среди пустыни, как «Титаник» среди враждебной воды – он был один и трусил до онемения конечностей.

Зловещие южноамериканские ухмылки мерцали из арочной полутьмы. Пуйдж шагал ровно по линии, опасаясь дышать и тщетно пытаясь придать себе беззаботный вид. Не было – ни вида, ни даже его видимости, и сам он, как никто, понимал это.

Монсе молчала, благоухая ментолом жевательной резинки. Сейчас меня будут убивать – обреченно думал он, тщетно пытаясь припомнить подходящую к случаю молитву.

Они углубились в арку, поравнялись с Мексиканцем и его бандой и... ничего не произошло. Тогда, во всяком случае, ничего. Молча и не глядя друг на дружку, они продолжали идти, с каждым шагом ускоряя, мимо воли, ход, и, уже рядом с домом, остановились, разглядели, как следует, один другого одинаково сумасшедшими глазами, разом громко выдохнули и рассмеялись.

...Боже, как хорошо я помню все это, до самой малой запятой, а ведь миновало уже четверть века – сказал он себе. Интересно, помнит ли Монсе – так, как помню я?

Еще бы не помнить! На следующий день Мексиканец по каким-то своим причинам не явился. Когда Монсе вышла из школы и, как и всегда, чуть улыбаясь, подняла свой зеленый рюкзак (как же быстро они усваивают все эти женские штучки!) – снова к ней бросилась толпа юнцов с усиками и без оных – однако все они получили решительную отставку. Отныне свя-

ценное это право: носить ее рюкзак – принадлежало безраздельно Пуйджу: так решила Монсе, и Пуйдж, разумеется не возражал.

И на занятиях они теперь сидели за одной партой. Целую неделю Пуйдж был абсолютно и безраздельно счастлив, а потом случилось неизбежное: Мексиканец явился снова. И снова Пуйдж шел пыточным коридором, держа Монсе за влажную холодную ладонь и опасаясь дышать, и обмирая внутри себя самым постыдным образом...

«Каброн!» – уже на выходе из арки выстрелил им в спину чей-то голос. «Сукина дочь, шлюха!» – добавил второй. И третий, контрольный выстрелом, шепелявый и с присвистом, самый отвратительный из всех, принадлежавший, как догадался Пуйдж, самому Мексиканцу, добавил-постановил: «Еще раз увижу тебя рядом с ней – убью!»

Настроение у обоих было окончательно испорчено. Говорить не хотелось.

– Пуйдж, может быть, не нужно меня больше провожать? – спросила уже у самого дома Монсе, с тревогой и виной заглядывая в глаза ему. Этот псих не оставит тебя в покое, точно!

– Нужно! – угрюмо, несуществующим басом возразил он. Однако угрозы свирепого Мексиканца и задавленной от злобы шепоток его упорно не шли у маленького Пуйджа из головы.

Вечером следующего дня Мексиканец перешел от угроз к действиям. Уже стемнело, когда Алонсо, младший брат Пуйджа прибежал домой, отозвал его в сторонку и сообщил, что внизу его ждет одноклассник, толстый индеец Гонсалес, непременно желающий с ним поговорить.

Никаких таких особых дел у Пуйджа с Гонсалесом не было – разве что, вместе они навещали иногда в лавку филателиста на площади Ангела – оба собирали марки.

Пуйдж самую малость насторожился, выглянул в окно – действительно, амеба Гонсалес с лунообразным своим ликом маячил внизу – и даже помахал призывно Пуйджу рукой. В другой его руке Пуйдж углядел кляссер с марками. Успокоившись, он поскакал пыльной узкой лестницей вниз, пересек двор, подошел к Гонсалесу, поздоровался – и понял, что они не одни.

«Толстый, можешь идти, нечего тебе здесь околачиваться!» – услышал он знакомый, с присвистом змеиным, голос, а затем и сам Мексиканец, страшно взблеснув золотым зубом, вышел на свет фонаря.

Разумеется, он был не один. Пять или шесть человек, успевшие неслышно нарисоваться за спиной маленького Пуйджа, быстро взяли его в плотное кольцо (сопротивляться было бесполезно, да он и не пытался), отвели на совершенно безлюдную в это время площадь Святого Фелипа Нери и поставили к фасаду церкви, изъязвленному осколками и пулями – следами Гражданской войны.

Учитель истории как-то рассказывал им, что в 38-ом, во время авианалета, прямо на площадь угодила бомба, убившая сорок два ребенка. Дети перебежали площадь, чтобы укрыться в бомбоубежище, расположенном в монастыре напротив – и попали как раз под разрыв. В январе 39-го, когда Барселона сдалась Франко, здесь же, у церковного фасада, расстреливали пленных республиканцев. А еще раньше, в средние века, здесь находилось кладбище, где ложились в каменистую землю Барселоны палачи и их жертвы.

Вряд ли обо всем этом знал не измученный грамотой Мексиканец – однако место для экзекуции он в любом случае выбрал на редкость правильное. Никогда еще за все четырнадцать с половиной лет жизни Пуйдж не ощущал себя более жертвой, чем тогда, и никто еще не казался ему более подходящим на роль палача, чем пахнущий чесноком, пивом и еще чем-то терпким, дурманящим и не менее гадким, Мексиканец.

Мексиканец, меж тем, встал прямо напротив Пуйджа: ростом немногим выше, но весь какой-то подобранный, хищный, ловкий, ощутимо опасный, и – явно наслаждающийся потерянными видом Пуйджа, который и в глаза-то ему боялся смотреть.

– Тебя же предупреждали, каброн, чтобы ты отвалил от этой чики? – почти доброжелательно поинтересовался он. – Держи башку ровно и смотри на меня!

Пуйдж кивнул и повиновался. Ббах! Ему показалось, что взбесившийся пони что есть силы лягнул его тяжелым копытцем прямо в подбородок. В глазах вспыхнули и погасли фиолетовые молнии, мир качнулся вправо, затем влево, и встал, наконец, на место.

Мексиканец, отступив на шаг и чуть встряхивая кисть правой, ударной руки, наблюдал.

– Что-то слабовато, амиго! – сказали со стороны. – Дай ему еще!

Ббах! На этот раз Мексиканец попал выше и разбил Пуйджу враз онемевшие и вспухшие губы.

– Эта чика будет моей. Она уже моя, потому что я так решил. Мексиканец так решил. Ты понял, каброн?

Пуйдж молчал.

Ббах! Ббах! Ббах! После одного из ударов Пуйдж здорово приложился затылком к шершавому камню стены и все-таки повалился – на холодный камень брусчатки. В Старом городе всюду был камень, камень, камень – слишком много камня. Мексиканец велел ему подняться и повторил вопрос.

Маленький Пуйдж молчал, слглатывая теплую солоноватую влагу, какой быстро наполнился рот его.

– Ты понял, каброн?

Ббах! Ббах!

Он падал, вставал и снова падал – казалось, уже целую вечность. Если существует ад, то он выглядит именно так, подумалось ему. В аду пахнущие дрянью мексиканцы мучают, а потом убивают нормальных девятиклассников – и продолжается это бесконечно. Время намертво застряло здесь, на площади Фелипа Нери, и не думало куда-либо идти.

Ббах! Ббах! Пони-садист рассвирепел окончательно.

– Смотри-ты, маленький, а упрямый! – то ли осуждающе, то ли уважительно сказали со стороны.

После слов этих Мексиканец быстро сунул руку в карман и извлек обратно. Щелкнула тугая пружина, и длинное узкий клинок складного стилета выпрыгнул бандитом наружу. Автоматические ножи в Испании запрещены, но Мексиканцу, понятное дело, было на это плевать.

Тонкий и острый шип клинка уперся Пуйджу в шею с левой стороны, кольнул и натянул кожу. Пуйджу сделалось совсем уж сладко, тоскливо и нехорошо. Потерять бы, что ли, сознание, потому что это невыносимо – думал он, но сознание и не думало теряться.

Мексиканец наслаждался и лютовал. То приближая, то отдаляя зловонную свою рожу, брызгая ядовитой слюной, мерцая коронкой, шипя и свистя простуженной змеей, он окончательно давал маленькому Пуйджу понять, насколько неуместны все его притязания на Монсе, и насколько он, молокосос Пуйдж, ничтожен по сравнению с многомудрым и всемогущим Мексиканцем.

Пуйдж, собственно, и так понял – давно уже понял. И на ногах он держался только потому, что снизу в подбородок уперт был стилетный клинок. Мексиканец просто-напросто насадил его на это жало, насадил и пришил к стене, словно безвольного жука. Когда враг посчитал, наконец, что с Пуйджа достаточно, и стилет был убран – Пуйдж действительно повалился навзничь: бумажные ноги совсем его не держали.

– Вот так! И если еще раз, еще рраз! Еще ррраз, кабррон! Если хоть раз еще я тебя с ней увижу – то выпущу тебе все твои поганые кишки. Только убью не сразу, не надейся – я тебя их еще сожрать заставлю! Это тебе я говорю – Мексиканец! А Мексиканец шутить не любит! – после слов этих он махнул прглашающе рукой: из тьмы мелкими бесами на Пуйджа ринулась пристяжь.

Он покорно и быстро скрутился в калач и закрыл голову руками. Как будто тяжелые, с шар для боулинга, градины застучали по всему его телу – а после все стихло. Он еще полежал,

послушал – и, охая, сел. Площадь была пуста – только у чаши фонтана возились деловито две собаки.

Теперь, оставшись один, он дал волю молчаливым слезам: не от боли, но от сознания собственного ничтожества. Я – ноль. Я – кусок дерьма. Я никто, пустота, слизняк, самый распоследний трус, дерьмо, хуже которого нет, я ноль, пустота, дерьмо – повторял он про себя отчаянной мантрой, находя в самоуничижении этом странное, болезненное почти-удовольствие; после кое-как утвердился на дрожащих ногах и заковылял прочь.

... Вот были страсти, вот были времена! – он, вспоминая, снова мечтательно улыбнулся. Сейчас, конечно, хорошо улыбаться, четверть века спустя – но тогда было не до улыбок.

Когда он приплелся домой, мать, сжав в полоску тонкую губы, тут же занялась его ссадинами и синяками. Покончив с врачеванием, она выписала ему пару хороших подзатыльников и устроила настоящий допрос. Пуйдж прятал глаза и молчал.

– Все из-за этой вертихвостки, Монсе – не иначе! – поняв, что ничего не добьется, заключила она. Вот уж эти матери: всегда все знают, и даже пытаться что-то утаить от них – бесполезно!

Наутро – была суббота, выходной – Пуйдж проснулся не от боли, нет, хотя ныла и страдала каждая клетка тела: за шкуру его взяла и выволокла из сна безысходность.

Страшное и странное это дело – просыпаться от безысходности: когда открываешь глаза и понимаешь, что не рад свежему дню, и лучше бы этому дню не начинаться вовсе! Такое с ним случилось впервые – и новое это знание не порадовало.

До того мирок Пуйджа, как и положено в его возрасте, был устроен просто и делился на черное и белое, друзей и врагов, можно и нельзя, хорошее и плохое – сейчас же все изменилось.

Он понимал, что пережить еще одну пытку от Мексиканца будет просто не в силах – но точно так же знал наверное, что в понедельник вновь пойдет провожать Монсе, и не сделать этого тоже не сможет.

Одним словом, ни черное, ни белое никуда не годились – требовалось придумать что-то другое.

Он мучился целый день, думал, думал, страдал неимоверно – так, что даже мать, сердившаяся на него со вчерашнего, повздыхала на разные лады, разлохматила ему волосы, прижала к себе, поцеловала в макушку нежней обычного и дала за обедом второй кусок пирога – а к вечеру, наконец, придумал.

Если долго думать, всегда что-нибудь да придумаешь! Таким уж он был, с самого детства: соображал долго, туго и медленно; забирался не пойми зачем в непролазные заросли терновника в двух шагах от давно проторенной тропы – но, придя своими замысловатыми путями к какому-то решению, держался его неуклонно.

Вечером, когда мать и отец закрылись в своей крохотной темной спальне – легли спать, он пробрался в кладовку, где под газовым котлом пылился обшарпанный деревянный сундук. В сундуке по традиции хранился тот хлам, который и не нужен уж, вроде бы, ни для чего – а и выкинуть жаль!

Кое-что оставалось от деда Пепе, переехавшего в свое время за город. Одну из таких дедовых вещей Пуйдж и искал, запустив руку в сундучные недра и стараясь не греметь старой посудой. И, пусть далеко не сразу, но нашел, на самом почти дне: пальцы нащупали плотную гладкую кожу чехла, после хлястик и прохладную кнопку застежки, и, наконец, ухватив прикладистую костяную рукоять, он потащил его наружу – дедов охотничий нож.

У деда, заядлого зверобоя, имелась целая коллекция холодных инструментов для охоты: короткие и широкие, со вздернутыми носами, скиннеры – ножи для снятия шкур; массивные и длинные лагерные ножи, предназначенные для любых, в том числе, и самых тяжелых работ;

небольшие никеры для добывания мелкой дичи; тяжелые, с клинками в локоть длиной, кинжалы для добора крупного зверя...

Весь арсенал он забрал при переезде в Марторель с собой, однако этот нож почему-то оставил здесь: забыл или не захотел брать. Оставил, как выяснилось, более чем кстати.

Пуйдж сунул тяжелую, с запахом вкусным кожи, вещь под футболку, прижал к боку рукой, пошел в туалет (Алонсо, младший брат, еще не спал, а он-то уж точно ничего не должен был знать) и там рассмотрел нож, как следует.

«Койот» – бежала готической вязью гравировка на хищном, со скосом-щучкой, клинке.

От долгого лежания в ножнах и сырости сталь покрылась кое-где легкими веснушками ржавчины. Бронзовый тыльник рукояти украшен был рельефной мордой зверя.

Что же, койот, так койот – сказал он себе. В самый раз будет. Он взял нож в руку – и сразу почувствовал себя уверенней. Ни белого, ни черного у него больше нет – что ж, будет красное.

Оставалось придумать, как его носить. За поясом не годилось, он попробовал и сразу в этом убедился: тяжелая железка при малейшем движении проваливалась вниз и больно была жестким наконечником чехла по ступне. В рюкзаке – тоже не дело: пока он будет выковыривать нож оттуда, Мексиканец десять раз успеет проткнуть его своим стилетом.

Снова Пуйдж принялся думать – и нашел. Он сбегал в коридор, принес оттуда свою куртку и снова заперся в туалете. Так и есть! Если сунуть нож в рукав, рукоятью вниз, плотная манжета на резинке не даст ножу выпасть – но сам он всегда будет находится под рукой.

Единственная проблема – слишком громоздкий чехол. Во-первых, нож в нем слишком уж был заметен, а во-вторых, чехол цеплялся нещадно за ткань, и быстро извлечь нож не получалось, сколько Пуйдж не старался. А ведь нужно еще отстегнуть кнопку хлястика – нет, снова Мексиканец оказывался гораздо быстрее, как положительный кинематографический ковбой.

Но и здесь решение нашлось почти сразу: он взял несколько листов плотной рисовальной бумаги, сложил вместе, обернул ими клинок и крепко-накрепко обмотал эту самоделку суровой нитью.

Вот теперь – другое дело! Нож почти не выпячивался, легко извлекался из рукава, и достаточно было малого усилия, чтобы смахнуть импровизированные эти ножны прочь, обнажая серьезную сталь.

Он потренировался меще минут пять – и удовлетворенно, впервые за этот мучительный день, улыбнулся. Теперь у него были шансы – и побольше, чем на выигрыш в рождественскую лотерею!

Мексиканец собирается его зарезать – что ж, если до того дойдет, он сам зарежет Мексиканца – или, во всяком случае, попытается. Ни черного, ни белого у него больше нет – значит, он выбирает красное.

Однако до времени глобальных улыбок было далеко. Пуйджу предстояло еще познать, что самая жестокая среди всех существующих пыток – это пытка ожиданием.

Четыре дня он провожал Монсе из школы, таская в рукаве нож, четыре дня и четыре ночи, то есть девяносто шесть часов, или 5760 минут, или 345600 секунд он постоянно, даже во сне, терзался ожиданием того страшного, что неминуемо должно было произойти. И раз эдак тысячу, никак не менее, он успел мысленно пережить и представить во всех подробностях предстоящий кошмар, причем с разными вариантами финала, каждый из которых был так или иначе трагичен – но подлый Мексиканец не появлялся.

На пятый день маленький Пуйдж перегорел. Перегорел и привык. Это стало для него еще одним открытием: оказывается, человек ко всему может привыкнуть – даже к тому, к чему привыкнуть нельзя.

Привык и Пуйдж. На выходе из дома он привычно помещал нож в карман куртки, в школьном туалете переключивал его в рюкзак – а после занятий все то же, но в обратном порядке.

Вечером дня пятого снизу примчался Алонсито.

– Пуйдж, там снова Толстый. Тебя зовет – сообщил, едва переведя дыхание, он. – Не ходил бы ты, Пуйдж.

Он не испугался, нет – просто всего его затрясло крупной, переходящей почти в судороги дрожью. Вот оно, вот оно! Сейчас всему приступит конец: тот ли, этот ли – уже и не важно. Он быстро оделся, приспособил нож и помчался вниз.

Гонсалес и не пытался ничего объяснять, только глянул на Пуйджа глазами виноватой собаки: «ты же понимаешь, что меня просто заставили». Пуйдж легонько улыбнулся ему в ответ: «да что ты, чувак, конечно, я все понимаю».

Как и в прошлый раз, Гонсалесу, дав пинка, тут же велели убираться прочь – а Пуйдж, чувствуя за спиной шаги пяти или шести, среди которых, понятное дело, был и Мексиканец, пошел, словно под конвоем, на площадь Фелипа Нери. Шли в полном и тяжелом молчании. Дрожь сотрясала его так сильно, что боязно было, что он не сможет сделать все, как надо.

И все-таки он смог. Там, на площади, когда Мексиканец снова велел ему стать к стене и подошел ближе, дыхнув, как и в прошлый раз, пивом и чесноком. Все получилось даже быстрее, чем он ожидал: рукоять ножа впрыгнула ему в правую руку, левой он сдернул отлетевший далеко самодельный чехол – и мгновенно, сам тому удивляясь, перестал дрожать. И спешить куда-либо – тоже. В неуловленный миг он стал спокоен, и время потекло так, как нужно ему.

И это тоже стало откровением: оказывается, он мог сколько угодно дрожать, нервничать и обмирать от страха «до», но, когда приступало время самого «дела», обретал немислимое, нечеловеческое спокойствие. Так было и тогда, и впоследствии – и, случалось, здорово ему помогало.

Тогда же, словно на кадрах замедленной съемки он наблюдал, как отскакивает изумленный Месикапнец, матерясь змеимным своим шепотком, и оглядывается зачем-то назад, вертя голову то вправо, то влево. Вот тварь, подумалось оранжево-ровно: не ожидал, поди, такого! И еще одна мысль пришла: если эта скотина сдохнет сейчас, потому что я его убью, его труп так же будет вонять чесноком и пивом. А еще – развороченными напрочь кишками.

Затем он пустил время с нормальной скоростью и с удивительным этим, новообретенным спокойствием, дрожащим лишь самую чуть от полноты переживаемого мира голосом сказал, поводя длинноватым и родным телом клинка:

– Ты же хотел меня зарезать, Мексиканец, да? Так давай – режь! У тебя есть нож, и у меня есть нож. Теперь на равных. Кто-то кого-то да убьет, это точно! Только знай: шутить я не собираюсь, и убивать буду по-настоящему. И тебя, и любого из твоей банды. Любого, кто хоть раз еще попытается тронуть – Монсе или меня. Сейчас и всегда – буду убивать, как смогу! Сейчас и всегда! Кого-то да успею прикончить! Давай, Мексиканец – чего тянешь? Ты меня или я тебя: давай! – и знал сам, говоря, что будет убивать и обязательно убьет, если не убьют раньше его самого, и знал, что и тот, другой – знает это тоже.

И это тоже закон, правило, не знающее исключений, как впоследствии мог убедиться он: если вслух произносишь в адрес врага «убью» – будь готов убить. Потому что такими вещами не шутят. А если на самом деле готов, то и тот, другой, враг – поймет это железно и сразу: здесь в передаче информации сбоя и ошибок не бывает. Как эта передача работает, какими непостижимыми средствами – неизвестно, но работает на все сто. Пуйдж тогда действительно готов был убить – и Мексиканец мгновенно почувствовал это. Убью, еще как убью, уж постараюсь, убью-убью, не сомневайся, повторял он упрямо и спокойно про себя. Или убьют меня. Но иначе никак нельзя – эта мексиканская тварь не оставила мне иного выхода.

Отпрыгнувший проворно Мексиканец стал в нескольких метрах, выпрямившись и сунув обе руки в карманы. Головой он больше не вертел. Стоял, молчал и буровил Пуйджа фирменным, на испуг берущим взглядом. Оправился. Собрался. Но Пуйдж-то помнил: шустрый отскок его и оглядки в темноту – помнил! Значит, боится. Ссыт – называя вещи своими име-

нами. Потому что тоже слеплен из мяса, и не хочет, чтобы это его вонючее мексиканское мясо пострадало.

Маленький Пуйдж ненавидел его – но очень вдумчиво и спокойно. То, что поножовщины не будет, он понял сразу. Как, интересно, эта тварь выкрутится, думал он – и продолжал молча ждать. Где-то в темноте затаилась такая же бессловесная кодла. Нарушил явно затянувшуюся тишину Мексиканец – все-таки он здесь был режиссером. Пытался им, во всяком случае быть – даже когда пошло все вразрез со сценарием.

Для начала он сплюнул: смачно, длинно и с выражением крайнего презрения. Большое, оказывается, дело – правильно сплевывать! Мексиканец владел этой технологией в совершенстве. После он сплюнул еще раз, демонстрируя непревзойденное мастерство, талантливо выругался и приступил к финальному монологу. Говорил он, полуоборотясь: и Пуйджу, и затаившейся в темных углах площади кодле:

– Слышали? Просекаете? Хорошо придумал, сосунок! Хорошо придумал: я сейчас его кончу, мне это раз плюнуть, а потом мне же сто пятьдесят пять лет впаяют за убийство несовершеннолетнего – и адьос, чико! Из-за такого куска дерьма, как ты, я на пожизненное идти не собираюсь. Нет, малыш, я подожду, пока тебе стукнет восемнадцать – а потом мы закончим разговор. Потом я тебя быстро и аккуратно зарежу. Быстро, аккуратно и без свидетелей. Быстро – если буду в настроении. А если без настроения – то не стану спешить, и ты сам будешь просить меня, чтобы я тебя скорее кончил! А пока – живи! Живи и трахай свою маленькую сучку. И скажи спасибо Мексиканцу – за то, что подарил тебе пару лет твоей маленькой вонючей жизни. Все, я сказал. Давай, дергай отсюда! Ну, кому сказано: дергай!

Мексиканец, выматерившись еще раз и еще раз сплюнув, отпятился на полшага – и замолчал, ожидая.

Странная то была ситуация: вроде бы, снова, как и прежде, змеился, командовал и угрожал Мексиканец, и последнее слово тоже оставалось за ним – но победил-то все одно он, маленький Пуйдж. Вот так, неожиданно и негаданно, взял и поставил на своем. И всеми без исключения: самим Пуйджем, Мексиканцем, бессловесной и безликой пристяжкой – всеми это так или иначе, но ощущалось.

Мексиканец продолжал молчать.

Пуйдж вполне мог теперь уходить – путь был свободен. Он, однако, повел еще было рукой с ножом, собираясь что-то сказать, но решил, что не стоит: все сказано и все понятно и так. Он и ушел – спиной вперед и с «Койотом» в руке. Ушел победителем – никто и не думал его преследовать. Даже кричать в спину почему-то не стали – и тишина тогда была самой что ни на есть поющей.

Больше его не трогали. Пару месяцев еще он таскал с собой нож – а потом сообразил, что ему и не нужно это. Что-то родилось и стало помаленьку подрастать внутри него – и не менее, пожалуй, прочное, чем ножевая сталь. А с Мексиканцем они не раз еще впоследствии пересекались, ссорились и даже дрались – но уже по другим поводам.

А когда Пуйдж стал, наконец, совершеннолетним, среди тех, с кем он скромно праздновал дату в «Ирландском Пабе», был и Мексиканец. Друзьями они, может быть, и не стали, но хорошими знакомыми – точно! Эх! Пуйдж мечтательно улыбнулся.

Вот так оно было тогда. Через месяц после этой истории Монсе позволила ему впервые поцеловать себя «по-взрослому»; через полгода ему позволялось уже трогать ее грудь; через девять месяцев его пустили ниже пояса – но пока только руками.

Первый настоящий секс случился у них ровно через год сумасшедшего, с запахом моря и счастья, тумана. Да, да только через год они отобрали друг у друга девственность в квартире

Пуйджа: родители уехали на выходные в Андорру и взяли Алонсито с собой: Пуйдж остался за хозяина.

И все случилось, и он лежал, измученный, счастливый и окровавленный, раздавленный нежностью, не успевший понять даже, что произошло, отвалившись и глядя в потолок, нащупав и зажав в руке теплую ладошку Монсе и повторяя про себя это глупейшее, пошлое, услышанное-подслушанное невесть где: «вот теперь я стал мужчиной»...

Они выпили по глотку вина и продолжили, еще и еще, и опять, и снова – и как же музыкально скрипел этот антикварный одр в спальне родителей Пуйджа!

А после еще год сумасшествия, с дымной горчинкой на исходе – и куда все ушло? И из-за чего исчезло? Хоть убей, ответить на этот вопрос Пуйдж не мог. Ни тогда, ни сейчас.

И никто, никто и никогда не даст на этот вопрос внятного ответа. Потому что никто не в состоянии объяснить даже – что такое любовь. Это все одно, что пытаться объяснить, что такое «Вселенная». Нет, пытаться-то, конечно, можно, но единственное, что известно наверняка – Вселенная необъятна и непостижима.

Так и любовь – она бесконечно больше и сложнее, чем жалкие мы, временные ее вместилища, и живет, подчиняясь другим, недоступным человеческому пониманию, законам. Да какое там – «законам»... Для нее законов не существует вообще: любовь своенравна, как кошка, гуляющая сама по себе. И приходит она, не спросясь, и уходит потом, не простившись – как ты ее объяснишь...

И все же – было, было! Ведь любили же они друг друга! И жили в одном доме, учились в одной школе, молились в одной церкви, после вместе поступали в один Университет...

Вот только Монсе прошла, а он – срезался. Он и вообще тогда впервые начал задумываться о том, подходит ли ему большой город – тем более, такой сумасшедший, как Барселона. Тем более, ни в полицейскую академию, ни на военный контракт его не взяли – помешала плоская стопа.

Вот тогда их жизни, державшиеся до того неразрывно рядом, как Санчо и дон Кихот, стали глупо и с ускорением расходиться в разные стороны: Монсе – враз, с головой – втянуло в славнейший и бурный водоворот, имя которому – студенчество, Пуйдж же пополнил ряды пролетариев, людей в ботинках со стальными носами – и, возможно, что-то там себе напридумывал насчет классовой розни, насчет того, что теперь-то, вертясь среди наглаженных утонченных хлыщей-студентов, она и смотреть-то на него, рабочую кость, не пожелает – и прочее в том же духе. Ну, не кретин ли?

Сказались романтические убеждения юности, да и как им в Барселоне, колыбели анархии и оплоте социализма, не сказаться? Во всяком случае, почти сознательно, совершенно нелепым образом, он начал все более терять Монсе из виду, пока не потерял вовсе. Вот идиот – другого слова не подберешь. Была, была в нем эта дурацкая черта: решать и знать за других, какие мысли бродят у них в голове.

Если на то пошло, можно было бы и у самой Монсе поинтересоваться, что она думает на этот счет – но для Пуйджа такие простые пути негодились. Он, как известно, был специалистом по окольным дорогам.

Тем более, что на третьем году обучения Монсе скоростно выскочила замуж за одного из «хлыщей» – сокурсника с библейским именем «Авраам» и небиблейской фамилией «Рабинович» – и всякие вопросы, если они у Пуйджа и наклеивались, отпали сами собой.

После университета Монсе с Авраамом поселились отдельно от родителей на съемной квартире в районе Грасиа. Монсе преподавала испанскую литературу тонкогубым прозрачным девочкам из лучших семей в колледже Святой Терезы, Пуйдж перебрался в Сорт, и на семь долгих лет они полностью выпали из поля зрения друг друга.

Глава 3. Монсе Обретенная

Барселона, 09—30

Конечно же, он временами продолжал думать о ней – в сослагательном, понятное дело, наклонении. К тому же, с годами он делался если не умнее, то разумнее, и начинал видеть вещи в более истинном свете.

Если бы он не навбивал себе в голову всяких глупостей... Если бы они продолжали встречаться... Если бы Монсе не вышла замуж за Авраама... Если бы она согласилась в свое время уехать с ним... Да, да, если бы Монсе согласилась, они жили бы сейчас вместе – там, в пиренейском городишке Сорт. Но... Вот то-то и оно, что «но»! Опять загвоздка! Даже опуская все эти «если» – вряд ли Монсе согласилась бы похоронить себя в пиренейскую глуши.

Потому что Монсе – другая. Ей подавай большой город, живущий двадцать пять часов в сутки. Она и заснуть-то не сможет – в тишине. И без того, чтобы люди вокруг, и шум сплошным фоном – не уснет тоже.

А в пиренейской стороне, куда переехал и где жил Пуйдж, тишина ночами была такая, что засыпал он под оглушительный стук своего собственного сердца – и звук этот, от какого вздрагивали в такт оконные стекла, хорошо слышен был на другом конце Сорта. Когда же среди ночи он вставал, чтобы помочиться, бьющая о фаянс и низвергавшаяся ниже струя грохотала не хуже водопада Виктория – такая в СORTE была тишина!

Впрочем, Пуйджа это ничуть не смущало. Тишина спокойствию – тоже подружка. А вот Монсе – он в этом не сомневался – долго выносить такое не смогла бы. Что ж, каждому сычу – своя олива. Пуйдж нашел свою оливу в СORTE, и считал ее лучшей из всех.

Семь лет они с Монсе не виделись, а вновь встретились неожиданным самым образом: проезжая как-то по трассе Н-2 в направлении Барселоны, аккурат на границе провинций увидел Пуйдж дивную картину: на обочине, под желтым зонтом, на белейшем стуле, слепя проезжих практически полным отсутствием одежды, с присущим ей достоинством Монсе торговала собой.

Пуйдж едва не утратил руль. На ближайшем съезде он выскочил с трассы и развернулся в обратную сторону. Цепкий глаз охотника не обманул его: это действительно была Монсе. Лавочку она тут же прикрыла, облачилась в «светское» (проще говоря, добавила к стрингам и мини-топу неброский, сразу снявший с нее печать профессии сарафанчик), и они отправились праздновать встречу в ресторанцию Толстого Хуана «Эль Герреро».

Лохматая пиренейская собака Хуана, такая же улыбочивая и грузная, как и ее хозяин, возлегала рядом с бордовым навесом. С полей раз за разом наносило ядреный запах навоза – «дух настоящей Швейцарии», как называл его Пуйдж, ни разу в Швейцарии не бывавший.

Рассказывала Монсе: вертела в музыкальных пальцах с аккуратными лунками ногтей сигарету, закуривала, взглядывала на Пуйджа поверх бокала зелеными по-королевски глазами – и каждый взгляд ее был как два легких, осязаемых едва и особенно оттого приятных касания. Пуйдж молчал, волнительно радовался про себя, воспаряя чуть-чуть над плетеным сиденьем, и – слушал.

С Авраамом Монсе развелась на четвертом году совместной жизни – еврейской жены из нее, к сожалению или к счастью, не получилось. И дело не только в том, что Авраам очень скоро принялся изменять ей направо и налево, причем, не особенно свои похождения и скрывая – это она могла бы, пожалуй, стерпеть и какое-то время действительно терпела. Дело даже не в том, что во время мелких ссор, которые происходили между ними все чаще, он с определенной поры взял похабную привычку обзывать ее «курицей» – и с этим она до поры мирилась.

Хуже другое: постепенно он перестал дарить Монсе даже малейшим вниманием, он, выражаясь прямо, совсем прекратил желать души ее и тела и относился к ней так же ровно, как, скажем, к кухонному комбайну, а когда она, выйдя, наконец, из себя, попыталась предъявить ему обоснованные претензии на этот счет, совершил грубейшую ошибку: он ударил ее желтоватой, будто только из формалина, рукой – и тут же пал на гулкий кафель пола, сраженный дешевой китайской вазой, которую Монсе обрушила на его конический череп.

...В этом месте рассказа ее Пуйдж мечтательно улыбнулся. Да, да, это верно: Монсе всегда была сгора, как болид Шумахера, и совершенно не терпела физического насилия над собой.

Авраам, возлегая на полу, в крови и осколках сосуда, растерянно матерился на иврите – в эти мгновения Монсе поняла, что скоропалительный их брак был обоюдным заблуждением, и нужно поскорее с ним кончать.

После визита скорой и полиции (скорая управилась быстро, потому как повреждения, в общем, были плевые, а вот полицейские презрительно потрепали Монсе нервы, прежде чем поверили, что убивать супруга она все же не собиралась) решено было разводиться, и на следующий день Монсе, собрав пожитки в средних габаритов чемодан с обшарпанными углами и наклейкой в виде олимпийской собачки Коби – туда легко вошло все, что она нажила за четыре совместных года – вернулась к родителям.

Вернулась, кажется, только затем, чтобы через год потерять их обоих.

В марте, аккуратно в канун Благовеста, умер ее отец – исключительный дон Антонио, похотивший зачем-то, как две капли воды, на Марлона Брандо. «Зачем-то» – потому что свою уточненную, с налетом порока, мужскую красоту дон Антонио надежно скрывал от людей и дневного света: всю жизнь, вплоть до ее внезапного конца, он проработал машинистом барселонского метро.

Да, да, это так: Барселона дон Антонио состояла из стремительно, как китайская диаспора, разраставшейся сети барселонской подземки. Когда он вывел на маршрут свой первый состав, в городе имелось всего четыре линии-ветки и каких-то четыре десятка станций. Когда он умер, количество веток перевалило за десяток, а число станций – и вовсе за полторы сотни. Жизненные этапы Дона Антонио тоже измерялись цветной шкалой метрополитена. Десять лет он управлял поездами на красной линии, двенадцать лет – на зеленой, а все последние годы проработал на синей.

Машинист метрополитена – особая профессия, приучающая к ответственности, пунктуальности, дисциплине и тишине. Эмоциям при такой работе не место: всякая эмоция машиниста, если она не вовремя, может стоить жизни доброй сотне человек, а то и не одной! И потому дон Антонио, казалось, не имел эмоций вовсе, а если и имел, то так надежно зажал их в стальные тиски сдержанности и самодисциплины, что догадаться о их наличии человеку стороннему было нельзя. Ответственность, пунктуальность и чувство долга – вот что такое машинист метро!

Именно таким и был дон Антонио – и дома, и на подземной работе. Он никогда и ни о чем не забывал. Он никогда и никуда не опаздывал, что для испанца практически невозможно – точно так же, как не опаздывали ведомые им поезда. Все обязанности машиниста, мужа и отца он выполнял точно, четко и в срок. Вдобавок, он никогда не раздражался, не повышал голос и не скандалил. Кроме того, он не сплетничал, к чему испанские мужчины имеют большую склонность, не пьянствовал и не бегал по бабам. Ко всему прочему, он не проявлял ни малейших признаков «мачизма». Одним словом, дон Антонио был идеален, к немалому страху обожавшей его жены, доньи Летисии, и имел, пожалуй, единственный недостаток: на него не за что было сердиться.

Чтобы не нарушить этот безукоризненный счет, он даже умер только после того, как закончил смену и вернулся домой – так рассказывала Монсе мать в день похорон.

В тот вечер, воротившись с работы, дон Антонио не стал ужинать, что уже было из ряда вон, и лег пораньше в постель. Когда донья Летисия устроилась рядом и потушила свет, он какое-то время молчал, а после произнес своим ровным, как рельс, и красивым, как новенький вагон, голосом:

– Ты знаешь, сегодня во время перегона от «Саграда Фамилия» до «Вердагер» мне почудилось, что я вот-вот, сию секунду, умру – так схватило сердце. Нет, мне не почудилось – я абсолютно уверен, что действительно должен был умереть, и обязательно умер бы, когда бы не смена и не то, что я вел переполненный людьми поезд. Я молился Деве Монтсерратской, чтобы она дала мне доработать сегодняшнюю смену – и она помогла.

Он произнес эту на редкость эмоциональную для себя речь и замолчал.

Донья Летисия не сразу нашлась, что ответить. Она попросту испугалась – таких слов ей слышать от мужа еще не приходилось. Вздохнув, она нащупала полной рукою его грудную клетку и принялась слушать.

– А как сейчас? – спросила минуту спустя она. Сердце дона Антонио, по ее мнению, стучало уверенно, деловито и ровно, как стучат на стыках колесные пары.

– А что сейчас? – в темноте она не видела лица его, но была уверена, что дон Антонио при этих словах слегка улыбнулся. – Что сейчас? – повторил он. – Сейчас смена закончилась.

После он поцеловал ее, чуть дольше и нежнее обычного, повернулся на бок и вскоре засопел, аккуратно, размеренно и негромко – как и все, что он делал. Уснула и донья Летисия, а посреди ночи закричала во сне и разом подхватила: от сибирского холода и злого дыхания случившейся только что страшной беды.

На крики матери из своей спальни примчалась, путаясь в надеваемой на ходу пижаме, Монсе и мгновенно поняла, что беда действительно случилась, и беда непоправимая: отец ее, дон Антонио, умер во сне, аккуратно и без излишней помпы – как и все, что он делал. Смена его закончилась – теперь уже навсегда.

Добавив урну с прахом мужа в фамильную нишу на кладбище Монжуик, донья Летисия заперлась на все ключи и засовы в себе и целыми днями молчала. Жалюзи в спальне она всегда держала опущенными. Когда Монсе попыталась как-то открыть окно, чтобы запустить в темную, как тоннель метро, комнату хоть малую толику света и воздуха, мать замахала отчаянно руками и расплакалась, как малая девочка: свет дня, похоже, сделался для нее ядом.

Из комнаты своей она выходила только на ужин – и размеренно, без единой эмоции на быстро увядающем лице съедала все, что подавала ей Монсе, вряд ли понимая, зачем она это делает. Когда Монсе о чем-то спрашивала ее, мать отвечала, и отвечала вполне разумно – и тут же, на секунду высунув голову на поверхность живого мира, снова уплывала в себя, уходила в истерзанную глубину большой снулой рыбиной и пряталась там – где-то глубоко-глубоко, на самом что ни на есть горьком дне, куда ни свету, ни воздуху доступа нет, а есть одни лишь жаркие метастазы боли.

Все стены их с доном Антонио спальни она украсила семейными фотоснимками, с каждой из которых ей сдержанно улыбался еще живой муж: один, или с нею, или с нею и Монсе.

Фотографий оказалось слишком много, к тому же, в полузадушенном от недостатка воздуха, трепетном свете монсерратской свечи, возжигаемой ежевечерне, донья Летисия не особенно могла разглядеть, куда она наклеивает все новые и новые улики их счастливой семейной жизни.

Карточки, в конце концов, стали тесниться и налезать одна на другую, будто торопясь и перебивая друг дружку в лихорадочном стремлении рассказать, как замечательно все было когда-то.

Вскоре халтурная липкая лента, купленная в китайском магазине, перестала держать, и снимки то и дело отрывались с легким треском и падали, шелестя, на пол – ш-ш-ша, ш-ш-ша, ш-ш-ша: будто невидимый душегуб-дворник безжалостной метлою заметал на совок все

их с Доном Антонио счастливые семейные годы, чтобы вынести после на пустырь, удобренный собачьим дерьмом, и сжечь, а пепел развеять по ветру. Ш-ш-ша, ш-ш-ша, ш-ш-ша – донья Летисия понуро вздыхала и бралась клеить заново – только для того, чтобы на следующий день снова подобрать их внизу.

В конце концов она перестала попевать за этим все ускоряющимся падением. Тогда, отчаявшись и до слез рассердившись, со свойственной ей в последнее время непоследовательностью, она решительно махнула на фотографии рукой, и они, облетевшие все до единой, так и остались лежать там, на прохладных плитах пола, и покрываться пылью, как и все в этой быстро дичающей комнате: со дня смерти мужа донья Летисия перестала прибираться вовсе.

На девятый день ей взбрело в голову укладывать на ночь с собою в постель одну или несколько вещей из гардероба покойника. Одежды у доня Антонио имелось совсем не много: невзирая на красоту, в щегольстве он замечен не был, и, кроме того, отличался поистине немецкой аккуратностью. Ему просто не нужны были новые вещи – потому что он никак не мог угробить и истаскать старые.

Все эти одеяния хранили часть его тепла, и, как уверена была донья Летисия, даже неповторимый запах его тела: где-то там, в глубине, под резковатым ароматом кондиционера для стирки.

Зажав в ладони рукав его свитера или пижамы, донья Летисия засыпала, чтобы проснуться в середине ночи с мокрым от слез лицом. Он подносила хранившую тепло и аромат мужа ткань к ноздрям, отчаянно втягивала в себя запах – и, хотя бы на миг, на сотую его долю, заставляла себя поверить, что все – как прежде, и дон Антонио жив.

Но перед рассветом всегда холодает: к утру запах и тепло истаивали без следа, и вещи умирали так же, как умер сам дон Антонио – и донья Летисия сбрасывала их, как ненужную ветошь, с постели на пол и тут же о них забывала.

Очень скоро их с доном Антонио семейная спальня сделалась в точности похожа на одну из двенадцати заброшенных станций барселонского метро, где жизнь когда-то тоже умерла в одночасье – с той лишь разницей, что на тех двенадцати и вовсе не обреталось ни одной человеческой души. Впрочем, разница эта была недолгой.

Три недели спустя на дом им принесли деньги – последние деньги, заработанные доном Антонио. Если бы знал курьер, что несет в этот дом – он обошел бы его за десять кварталов; он напился бы во всех попутных барах и надолго застрял в унылой норе первой же дешевой проститутки; он затеял бы двадцать драк и столько же раз постарался бы угодить в полицейский участок – но курьеры, увы, не ясновидящие!

Расписавшись и приняв аккуратный продолговатый конверт в руки, донья Летисия стала задыхаться, багроветь, закричала перешедшим тут же в шепот голосом – и сердце ее, стучавшее со дня смерти мужа только по инерции, не выдержало и разорвалось.

Так в неполный месяц Монсе лишилась и матери, и отца, и можно было только представить себе, какой ценой далась ей эта потеря.

Пуйдж, слушая, огорчился и удрученно вздыхал. Он хорошо знал и доня Антонио, и донью Летисию: красивую, густоволосую, пышную, с итальянскими лисьими глазами – и помнил о них только хорошее. Незаметно для себя он взял Монсе за руку – и так и продолжал держать весь последующий разговор.

Что до Монсе – она осталась совершенно одна, и жизнь продолжала подкидывать не самые приятные подарочки.

Попав под очередную волну каталонизации: количество часов испанского языка и литературы безбожно и повсеместно резали – она лишилась места, причем не лучшую роль здесь сыграли все ее «прокастильские» лингвистические выступления, которые ей, понятно, припомнили. Посobie быстро закончилось. Монсе жила на остатки скудных сбережений, сделанных ранее.

Как-то, прогуливаясь по Пасейдж де Грасия – «Елисейским полям Барселоны», она встретила Аабеллу, одну из своих бывших сокурсниц по Университету. Аабелла выпорхнула из «Loewe» с благородным черно-золотым пакетом, в котором явно угадывалась покупка – и это при том, что бросовая сумочка в этом магазине могла легко потянуть на пару учительских зарплат.

Монсе никогда не была завистлива – она искренне порадовалась за подругу. В кафе они разговорились. Аабеллу с год назад тоже турнули из учительских рядов, но это, по словам ее, переменяло ее жизнь только к лучшему – и еще какому лучшему! Она устроилась на работу в одно из таких мест – таких мест! – о которых можно только мечтать.

– Мне просто повезло: брат тренируется вместе с тамошним начальником охраны. Ты же знаешь, как у нас все делается – только через знакомство. Ах, Монсе, как же я счастлива, что попала туда! Представь, за неделю я сейчас зарабатываю больше, чем когда-то за месяц в школе – и устаю ровно в десять раз меньше! – вонзая белые клычки в магдалену, делилась новостями она.

Аабелла, как выяснилось из дальнейшего ее рассказа, трудилась в «клубе» – этот эвфемизм в Испании принято использовать вместо топорно-грубого «публичный дом». Причем, не каком-нибудь захудалом, справившем давно вековой юбилей третьесортном клубешнике в грязных недрах Равалья, где на спинках продавленных кресел еще дотлевают истертый, так любимый в конце 19-го века плюш, позолота на карнизах давно облупилась, лепнина осыпалась древней трухой, изо всех щелей несет затхлостью и унитазом, а тараканы бодро, целыми отрядами маршируют по коридорам, направляясь друг к другу в гости и не обращая ни малейшего внимания на потрепанных девиц и их таких же потертых клиентов – нет!

Заведение, в котором имела честь подвизаться в качестве жрицы любви Аабелла, располагалось в основательном, надежно сокрытом в глубине большого участка особняке рядом с проспектом Тибидабо, в верхней зоне города, а клиентами его были, как выразилась Аабелла, «все те хари, которые ты каждый день видишь по ящику» – то бишь, политики, банкиры, телеведущие, бизнесмены и прочие личности, задающие в Каталонии тон.

Заведение – элита элит. Верхняя ступень эволюции в древнейшем бизнесе. Соответственно, и требования к сотрудницам особые: обязательное наличие высшего образования, причем, предпочтение отдается девочкам с дипломами филологов, психологов и политологов; общая эрудиция, начитанность и умение поддержать светский разговор на самые разные, зачастую весьма далекие от банальной ебли, темы; при этом – искусство не только всесторонне владеть и работать языком, но, что еще важнее, и держать его за зубами относительно клиентов заведения (впрочем, попробуй не поддержи: вмиг не только этого самого языка, но и всей головы лишишься! – отметила на этот счет Аабелла, выразительно поиграв белками); ну и, само собой, наличие не рядовых, но выдающихся внешних данных.

Здесь Аабелла прервалась и оглядела Монсе как следует.

– Замужество и, в особенности, развод явно пошли тебе на пользу, – похвалила, удовлетворившись осмотром, она. – Ты просто красавица, Монсе – если, конечно, не считать этого жуткого тряпья, которое ты зачем-то напялила на себя и наверняка считаешь одеждой. Как, ответь мне, можно выходить на люди в кедах, будучи дамой?! Что у тебя, кстати, с работой?

– Ничего, – честно призналась Монсе. Сокурсница всегда нравилась ей своей лязгающей прямоотой.

Покусывая зубочистку, Аабелла снова принялась разглядывать Монсе в упор, буквально просверливая ее насквозь густо-серыми, слегка на выкате, близорукими глазами в опушке длинных, с загнутыми кончиками, ресниц.

– А почему бы и нет? – заключила, в конце концов, она. – Вот почему бы и нет!? Ничего пока обещать, понятно, не буду – но попробую! Замолвлю за тебя словечко – думаю, ты им

подойдешь. Почему бы и нет: с внешностью у тебя все в порядке – приодеть и причесать, конечно, потребуется – а по литературе ты и вовсе была первой на курсе!

Здесь, видимо, Аабелла что-то углядела в выражении лица не совсем готовой к такому повороту событий Монсе – что-то такое, что ей не понравилось. Еще во время учебы она славилась злым и точным языком, из-за чего на курсе носила прозвище «Гадючка».

– Напрасно кривишься! – сказала она. – Каждая женщина мечтала бы работать там – но попадают туда только избранные. И знаешь, в чем заключается единственная, но главная разница между этой работой и тем, чем мы занимались в школе? Тем, что в школе нам трахали мозг, совершенно для этих целей не приспособленный – причем, за унизительные для любого нормального человека деньги. И, поверь, зарабатывать самостоятельно на достойную таких красавиц, как мы, жизнь гораздо лучше, чем зависеть от милостей какого-нибудь волосатого жадного чудовища, которое зовется, по недоразумению, мужем. И попомни мои слова: если все сладится, ты будешь благодарна мне по гроб жизни!

Эх, умела Аабелла выражаться емко и сильно! Монсе подумала, посопела пряменьким носом – и не нашлась, что возразить. Похоже, ее красный диплом мог найти наилучшее применение только в публичном доме.

– А поговори! – сказала она. – Поговори, подруженька! Замолви за меня словечко!

Аабелла не наврала: «клуб» действительно был элитным. Чаще всего клиенты снимали здесь девочку на целую ночь и платили, не чинясь, ровно столько, сколько полагалось по безжалостному прейскуранту: люди были особенные, ничуть не удрученные отсутствием денег.

Кое-кто из них, чтобы сохранить инкогнито, пользовался фирменной, черной с голубым, маской заведения – но большинство предпочитало обходиться без них, прекрасно зная, что девицы и так будут хранить молчание.

Забавное то было время! Парламентарии; члены правительства; чиновники городской администрации; известные борцы за права человека; высшие чины полиции; банкиры и бизнесмены; зеленые сынки богатых и влиятельных отцов, желавшие, с самого нежного возраста, получать все по высшему разряду; футболисты и прочие спортсмены, знаменитые на весь мир музыканты, видные мафиози; и даже кое-кто из Епископского дворца – клиенты у нее, одним словом, были самые что ни на есть отборные.

Очень скоро Монсе начала понимать, что имела в виду Аабелла, говоря, что «каждая женщина была бы счастлива работать здесь». В определенном смысле, она, благодаря протекции подружки, угодила в маленький секретный рай, расположенный в лучшем районе города и спрятанный за высоченной, напоминающей крепостную, стеной, выше которой по всему периметру объекта возвышалась еще одна – из густо-зеленых, в чернь, кипарисов.

Только сейчас она познала, как здорово это: гулять по проспекту Грасиа мимо всех этих Шанелей, Берберри, Луис Витонов, Фул и иже с ними – гулять, зная, что ты в любой момент можешь зайти в каждую из этих взбесившихся ценами лавок, и зайти далеко не из праздного интереса. Да, да, было в этом не изведенное ею ранее – и особенно оттого приятное удовольствие.

Заработок был лучезарен, да и клиенты, если разобраться, не особенно докучали.

Политики настолько жили своими грязными подковерными играми, что начисто, случалось, забывали о том, что находятся в публичном доме.

Многофункциональные и безликие лица их то и дело озарялись вспышками гениальных, придуманных сию минуту подлостей, и тут же они порывались диктовать Монсе какое-нибудь особенно срочное и исключительно коварное распоряжение, явно принимая ее за секретаршу.

Все они, как один, давно и прочно сидели на смертельной игле, потребляя без меры самый мощный из придуманных человечеством наркотиков: власть. На фоне власти секс для них был чем-то вроде простейшего косячка по сравнению с дозой отборного кокаина.

Чиновники, изможденные неустанными кражами из самых разных бюджетов, которыми им доверили управлять, тоже, как правило, не блистали постельными подвигами.

Гораздо важнее для них было, чтобы собеседник понимал: сидеть там, где они сидят, и воровать столько, сколько они воруют – дело крайне ответственное, сложное, требующее недюжинного таланта и разрушительное, к тому же, для здоровья. И не просто понимал, но и почтительно жалел их за это. Монсе жалела без особого труда, справедливо рассудив, что ее от этой жалости не убудет, а людям все же приятно.

Заезжие рок-идолы, поразительно не похожие на публичных себя – все, без исключения, сильно налегали на алкоголь, безжалостно мешая его с наркотой – и тоже не доставляли особых хлопот.

Мафиозные лидеры в большинстве своем были пожилыми, обремененными детьми и внуками, отлично воспитанными и галантными людьми, умевшими ценить женский ум и красоту – и того, и другого у Монсе имелось в избытке, поэтому с мафией она тоже ладила.

Конечно, если речь шла о юнцах из богатых семей или спортсменах, или, в особенности, о клиентах из католической среды, Монсе приходилось и попотеть – но это, в конце концов, предполагалось самой сутью ее профессии!

Одним словом, все было хорошо – так хорошо, что Монсе начала подумывать о том, что долго так продолжаться не может: слишком уж похоже все на прекрасный сон! Неизвестно, накликаем ли мы беду, когда начинаем предвкушать ее заранее, но в случае с Монсе именно так и случилось.

«Пес» – так она для себя окрестила его в первый же раз – и ничуть, как вскоре выяснилось, не ошиблась. Манерный, за шестьдесят, мужчина с фальшивым насквозь лицом. С «изжитым» лицом, как выразилась Монсе. В первый, впрочем, раз, все прошло как обычно.

Во второй раз «Пес» явился с другом – таким же, как он, бодрячком за шестьдесят, с дряблой шеей и такими же, как у «Пса» извилисто-неуловимыми глазами. Правила работы в «клубе» предусматривали такой вариант, за соответствующую доплату, разумеется – поэтому снова никаких проблем не возникло.

В третий раз «Пес» пришел без друга-бодрячка, но с огромным королевским догом тигриного окраса и возжелал, чтобы Монсе непременно возлегла с ними обоими, поочередно и вместе – тогда терпению Монсе наступил предел.

(В этом месте рассказа ее Пуйдж так разволновался, что убийственной своей клешней едва не переломал Монсе все пальцы. Снова, снова он узнавал свою Монсе, и понимал, как ей тогда, при ее характере, пришлось. Всякий способен сохранять чувство собственного достоинства, работая в городской библиотеке, а вот делать это, будучи проституткой – задача еще та! Впрочем, Пуйдж не сомневался, что Монсе она оказалась по плечу.)

– Ты знаешь, кто я такой? – бесцветно спросил «Пес», терпеливо выслушав все проклятия, которые обрушила на его голову Монсе. За весь монолог он ни разу не перебил ее, как будто чужая, обращенная против него, ярость доставляла ему особое удовольствие. Красавец-дог хранил такое же внимательное молчание. – Ты знаешь, что мне не отказывают?

Монсе еще раз повторила, кем считает его и его собаку, и куда им нужно сию минуту идти. «Пес» особенно нехорошо улыбнулся, однако настаивать ни на чем не стал. Дог не улыбался, но сохранял такое же олимпийское спокойствие.

«Пес», оглядев Моне еще раз стильными глазами, выглянул в коридор и дважды негромко свистнул, словно подзывая еще одну собаку. После он отдал кое-какие распоряжения прибежавшему охраннику, и, принялся аккуратно раздеваться. Через минуту охранник вернулся и привел с собой длинную и прямую, как стрела крана, бельгийку Беатрикс.

– А эта пусть смотрит! – велел «Пес» охраннику, кивнув на Монсе. – проследи!

После чего он и его собака, поочередно и вместе, занялись Беатрикс, которой, похоже, все эти штуки не были в новинку – и Монсе вынуждена была наблюдать эту мерзость.

– Ты знаешь, что мне не отказывают? – повторил «Пес» еще раз, уходя.

– Ну ты даешь! – удивилась Аабелла, когда Монсе рассказала ей о мерзавце. – Это же был сам хозяин! Точнее, один из хозяев – второй, поговаривают, заседает в парламенте. Даже не знаю, подружка, что тебе и сказать...

Вид у нее был озабоченный – и не зря. Вскоре один из постоянных клиентов, некто сеньор Рамирес, явно близкий знакомый «Пса», человек молчаливый и с одним глазом, обвинил Монсе в пропаже бумажника с внушительной суммой денег – причем, тут же нашлись и свидетели: шепелявый поляк-охранник Янек и одна из девиц с экзотическим именем Оксана, готовые под присягой в суде подтвердить, что видели этот самый бумажник у Монсе. Классический вариант, что и говорить: следующих полгода Монсе пришлось работать почти за так, отдавая львиную долю зарплаты на выплату несуществующего долга.

Через полгода к ней снова явился «Пес», и снова с псом, и снова с прежним предложением: он, похоже, испытывал истинное наслаждение, забавляясь таким образом с Монсе.

– Ты знаешь, что мне не отказывают? Не отказывают ни в чем? Никогда и ни в чем? – поинтересовался все тем же лишенным эмоций голосом он, и Монсе поняла, что работать в этом заведении ей больше не придется.

Так, в конце концов, оформив частное предпринимательство, она оказалась на трассе Н-2. Заработки здесь были не в пример меньше, да и налоги съедали немалую часть дохода – зато стояли теперь над нею только Бог да полицейский патруль, и никакая тварь не могла заставить ее заниматься мерзостью, противной человеческому естеству.

Более того, через год она если не полюбила, то приняла придорожную работу. Клиент здесь шел попроще, зато и пафоса было меньше, чем в недавнем раю.

В конце концов, благодаря этой ее работе Пуйдж и Монсе встретились вновь – и продолжили встречаться дальше.

«Иногда человеку нужно немного больше, чем голый кусок мяса на двадцать минут, – говорила Монсе. – А разве эти „креветки“ в настоящем сексе что-нибудь понимают?»

«Креветками» она называла 18-летних девчонок, работавших на той же трассе: басовито-прокуранные голоса, вечно-тупо-голодные взгляды, пирсингованные шмони и пупы, тату там и тату здесь (вот они, будущие обительницы мира татуированных старушек) – и почти полное отсутствие тел. Ну не за что взять! И кто они в таком случае? Креветки и есть! И здесь Пуйдж полностью был с ней солидарен: ну, какой прок в тощей бабе? Нет, у женщины должны быть формы, и формы фигурные – иначе что же это за женщина?

У Монсе – были, а еще она знала наизусть тысячи, никак не меньше, стихов (влияние прежней профессии) и иногда декламировала их прямо во время занятий любовью: это, как выяснилось, здорово заводит обоих.

Особенно по душе было ему «...среди белых стен испанских черные быки печали...» – у Монсе выходило изумительно, да и вообще: он гордился, что знает ее и с ней спит.

Из ее же рассказов Пуйджу было известно, что треть всех клиентов – потайные мелкие извращенцы, не рискующие проделывать со своими женами безобидные, в общем-то, вещи, на которые отваживались с ней; еще трети требовалось, только, чтобы у них отсосали: желательно, заглядывая при том по собачьи, с эдакой фальшиво-благодарной покорностью снизу-вверх в их пошлые очи (...а ты что, возомнил, что мы сосем вот так, без ничего и понастоящему? как бы не так! у каждой девчонки в таких случаях во рту уже заготовлен презерватив, всё и всегда только через него – клиент и знать ничего не знает, да и не нужно ему – знать); и, наконец, оставшаяся треть составляла золотую клиентуру, воспитанную на традициях неприхотливой деревенской классики.

Настоящие маньяки случались дважды – и оба раза во время сиесты, когда хранители Монсе, ее упитанные серафимы – патрульные Бобо и Сальвадор – отъезжали на обед в «Эль Герреро», чтобы съесть по полкило кровавого, лишь на два вздоха прижженного на углях мяса, запивая его бокалом-другим лучезарного вина свежего урожая.

С двух до пяти испанский закон гурманствует и клюет носом, предаваясь священному отдыху, и потому сиеста – время маньяков. На этот случай Монсе всегда держала при себе складной нож фирмы «Zero Tolerance», купленный со скидкой в ножевом магазине «Рока» на барселонской площади Пи.

Нож был хорош: с пружиной для ускоренного открывания, черный, крепко сбитый, увесистый и небольшой – эдакий карманный, всегда на подхвате, питбуль. Достаточно было легкого нажатия пальцем на плавник-упор – и массивный короткий клинок с хлестким клацем летел наружу.

Монсе, развлекаясь, показала разок Пуйджу, как ловко, в долю малую секунды получается у нее проделывать это. Нож, кстати, в одном из двух «маньячных» случаев действительно ей помог.

Первым маньяком оказался красивый седой юноша из подержанного Кайена, убийственно благоухавший дорогим одеколоном – словно все парфюмерные лавки Андорры, вместе взятые. Тип, одним словом, был роскошный – разве что рот его показался Монсе нехорош: морщинистый, собранный гузкой и неестественно красный, этот рот напоминал, скорее, раздраженный анус – но целоваться с ней Седой, как выяснилось, не собирался.

Уговорившись о цене, он пристроился к ней сзади, стоя, лишь чуть приспустив штаны, и двигался в ней обесчувственным поршнем, хватая из раза в раз за волосы и тут же отпуская, а потом приобнял длинными и тоже до рези пахучими пальцами за шею, приобнял, чуть сжал и отпустил, и снова приобнял, а потом она поняла, что игра закончилась и ее душат по настоящему.

Всегда понимаешь, когда понарошку, а когда всерьез – рассказывала она. Здесь было всерьез, и настолько, что сделалось ей нестерпимо жарко, выплыли из темной глубины багрово-фиолетовые круги, и, уже теряя сознание, с готовыми взорваться изнутри легкими, она-таки исхитрилась стащить с резинки пояса прицепленный на клипсе нож, выбросить наружу клинок и дважды ударить Седого куда-то в правое бедро.

Удары вышли несильными, однако их хватило для того, чтобы смертельный хват ощущимо и разом ослаб. А дальше она извернулась, оказалась с ним лицом к лицу, а точнее, ртом к островатому уху – и вгрызлась в это самое ухо разъяренной самкой мастиффа, вгрызлась насмерть, не сомневаясь и не раздумывая.

Зубы у Монсе были еще те – им позавидовать могла бы любая акула, ухватила она хрящеватую ткань основательно, и крику от Седого было куда больше, чем от Холифилда после укуса «Железного Майка».

Хватаясь попеременно то за ухо, то за ногу, сочась там и здесь вишневым, маньяк, матерясь и подвывая тонким девичьим голосом, погрузился в Кайен и был таков

Рассказывая, Монсе широко улыбалась и смеялась даже, обнажая те самые, белые, как пиренейский снег, убедительные по-акульи зубы – но Пуйдж-то понимал, что пришлось ей пережить, и жалел неистово, что его в тот момент не было рядом: уж он-то этому негодяю не только уши, но и все его поганое хозяйство открутил бы напрочь!

Второй маньяк на маньяка походил еще менее – благообразный предпензионер в роговых очках и рабочем комбинезоне, с лицом добродушной амебы и рабочим же фургончиком, на каком он и прибыл отведать ее прелестей...

И возлечь он пожелал самым что ни на есть классическим образом. Тем более удивилась она, ощутив упершееся ей в почку жало ножа – стоило ей на миг повернуться к нему спиной. Сейчас мы пойдем к моей машине – сказал он ей. Тихо и спокойно мы пойдем к моей машине,

и не вздумай дергаться и кричать, иначе я разрежу тебя на тысячу мелких кусочков и разбросаю их по всей Каталонии – и говорилось все это голосом домашним, с улыбкой и теплотой, с почти отеческой лаской.

А потом он развернул Монсе к себе и в глаза ей заглянул поверх мощных линз – заглянул так, что она разом вжалась в себя да так там, в себе, и замерзла. Ты представляешь, рассказывала Пуйджу, поживаясь и нервно смеясь, она: бывает, у клиента пахнет из рта, а у этого – пахло из глаз! И пахло не чем-нибудь, а смертью – ее близкой смертью.

И поделаться ничего было нельзя – этим страшным, из глаз его, запахом, ее парализовало-заморозило напрочь, всю, целиком, и, повернувшись покорной ледяной сомнамбулой, она позволила ему отвести себя к фургончику, и – поняла, сохранившимся теплым краешком, уголочком малым сознания, не подпавшим под губительное поле: если она позволит ему затащить себя внутрь, то там для нее все и завершится.

Это как в «Коллекционере» у Фаулза, с одной маленькой разницей – все не понарошку, а на самом деле. И там бы, пожалуй, все действительно для нее и завершилось, потому что, понимая все, сделать она ничего не могла, а про нож даже и не вспоминала – там для нее все и завершилось бы, если бы не Бобо и Сальвадор, первый и единственный раз за всю службу закончившие, необъяснимо для себя самих, сиесту раньше положенного срока и оказавшиеся, единственный и первый раз за всю службу, в нужное время и в нужном месте. Должно быть, Богородица Монсерратская их надоумила, не иначе!

При виде людей в форме изверг быстро увял и сопротивляться не пытался: из страха ли, из стратегических соображений – кто знает... Вот только покладистость эта ему не помогла – выяснилось, что это тот самый «мясник», который терроризировал Каталонию уже с десятков лет, и за которым числили полтора десятка расчлененных самым тщательным образом женских трупов – в основном тружениц панели, и то, что Монсе удалось остаться живой – случайность из случайностей и величайшее чудо.

Но все это были частности, случаи из ряда вон, не менявшие общей картины – ей, похоже, действительно нравилась придорожная работа. Пуйдж слушал и, слушая, обмирал, восхищался, негодовал, злился, радовался, трепетал, и вообще – пребывал в глобальном смятении: он и не подозревал, что все это время возвращал в себе целое потаенное поле нежности к ней, а сейчас все оно расцвело вдруг бархатом и лимоном, как цветет по весне в пиренейских предгорьях рапс... Эх, если бы...

Эх... Если бы Пуйдж не упустил момент, если бы он «дозрел» до нужных слов вовремя – возможно, Монсе, была бы с ним и его. Его целиком и полностью – а не раз в половину года. Да что говорить: как и подобает всякому правильному тугодуму, Монсе он просто просрал. Там, где нужно было действовать молниеносно и ловить удачу за волнистый и волнительный хвост, он не трогался с места, соображая со скоростью растущего самшита. Впрочем, и потом еще можно, можно было все исправить – до поры. Ну, не тугодум ли? Тугодум и есть!

Даже для того, чтобы дозреть и «подняться в горы», как называет это сеньора Кинтана, ему понадобилось целых восемь лет. Восемь лет! Восемь долгих лет он шел к мысли о том, что жизнь его – не в графской Барселоне, а в пиренейской дикой стороне.

Ну ладно, ладно, не кипятись – осадил он себя. Не забывай, что был дед Пепе, за которым требовался уход. Один ты все это не потянул бы, а бросать старика на родителей, которые тоже, между прочим, работали – не дело. Вот тебе и восемь лет! А там навалилось-совпало все разом: смерть старика, переезд родителей в Аркашон – и Пуйдж, наконец, дозрел.

Глава 4. Брат Алонсо

Барселона. 09—45

Дозрел... Дозрел! Пуйдж нахмурился. Это его, если на то пошло, «дозрели». Черт! Не хочется о таком вспоминать даже! Эй, ладно, ладно, спокойнее – приструнил он себя. Раз уж сегодня такой день, что приходится извлекать из близких, и далеких, и совсем уж запылившихся сундуков памяти всех, кого знаешь или знал когда-то, вспоминай и о нем – о ком по голосу крови и так помнишь всегда. Помнишь, хотя желал бы забыть: о младшем брате Алонсо. Родном младшем брате Алонсо.

Алонсито – так будет правильнее. Потому что если Пуйджа от рождения всякий звал исключительно по фамилии: «Пуйдж» – коротко и ершисто, как выстрел или удар, то младший откликался исключительно на это, шелково-нежное «Алонсито».

Эх, Алонсито, красавчик Алонсито... Так уж вышло, во всем, начиная со внешности, младший брат получился полной противоположностью старшего. Пуйдж, невзирая на то, что и мама, и отец были хороши собой, уродился внешне грубоватым, как булыжник: словно родители и не рассматривали его рождение совсем уж всерьез, а, скорее, тренировались перед тем, как сотворить настоящий шедевр.

И таки сотворили, двумя годами позже: крошка Алонсито унаследовал и нервную красоту матери, француженки из Аркашона, и арийскую правильность лика рыжего красавца-отца, коренного барселонца.

И если Пуйдж, явившись в мир, так и катился по детской жизни обернутым внутрь себя, копошливым и увесиситым каменным шариком – Алонсито порхал тонкокрылым херувимчиком, выше и над, не касаясь постылой грязи мостовых, принимая восторги по поводу ангельской своей внешности как должное, точнее – как мизерную часть этого самого «должного».

Да, да, так и есть, теперь Пуйдж окончательно понимал это: с момента своего рождения, а может быть, еще в маминой утробе, Алонсито твердо был убежден, что все и всегда у него в пожизненном долгу – уже за сам факт его нисхождения в этот несовершенный, воняющий бедностью и мочой мир Готического квартала Барселоны.

И все же, справедливости ради надо признать: ребенком он был чудо как хорош! Такие карапузы рождаются раз в двадцать лет – и рождаются как будто специально для того, чтобы сниматься в рекламе подгузников или молочного шоколада!

Да что говорить: из десятка чупа-чупсов, подаренных прохожими братьям за время семейного променада по проспекту Колумба, девять приходились на долю крошки Алонсито! И нужно было видеть, с каким врожденным достоинством маленького инфанта принимал он дары в пухлые ручонки, оделяя дарившего своей шоколадной улыбкой в ответ – как монаршей милостью!

Единственное, пожалуй, что способно было омрачить и временами омрачало его обаятельную румяную мордашку – вопиющее несоответствие себя тем убогим обстоятельствам, в каких он родился и рос: мама работала на конвейере кондитерской фабрики, где выпекались миллионы магдален, а отец, с этой своей внешностью великана, воина и вождя, стоял в высоком дурацком цилиндре на дверях отеля Ритц, кланяясь и открывая двери совсем чужим, смотревшим сквозь него людям – отец трудился швейцаром.

К слову сказать, сам отец находил свою работу невероятно интересной – где бы еще он мог увидеть столько звезд мировой величины на расстоянии вытянутой руки, а иногда и пообщаться с ними? – и она же служила неизменной темой для разговоров за воскресным обедом в кругу семьи.

– Вчера у нас остановился сеньор де Ниро, – голосом почти обыденным говорил, например, отец, аккуратно разбирая креветку. – Вечером мы с ним даже перекинулись парой-другой фраз. Очень общительный и хорошо воспитанный мужчина. Настоящий джентльмен. И никакого зазнайства! Подумать только, да?

– Постой-постой, – первой откликнулась обычно мать, знавшая за отцом малый грешок тщеславия и не упускавшая случая безобидно подколоть его. – Это какой де Ниро? Не тот ли итальяшка, что недавно ввез в Испанию огромную партию бракованных трусов? Помнишь, про это еще говорили в новостях на прошлой неделе?

Пуйдж и Алонсито опускали лица в тарелки, хороня улыбки – ох уж, эта мама!

– Какие трусы?! – возмущался отец. – Какие еще трусы!? Сеньор Роберт де Ниро! Роберт де Ниро из Голливуда! Да, у него есть итальянские корни, об этом всем известно, но трусами, тем более, бракованными, он отродясь не торговал! Не с тобой ли, дорогая, мы ходили когда-то на «Бешеного быка» – и едва не ревели от восторга?! Так вот – это именно тот де Ниро, и сегодня я имел честь пожать ему руку и беседовать с ним. Каково?

Пуйджа и Алонсито шумно восхищались – де Ниро входил в число их кумиров. Мама, сочтя, что с отца, пожалуй, достаточно, присоединялась к общему восторгу.

– А знаете ли вы, что сказал мне сеньор де Ниро? – вопрошал отец. – Ни за что не догадаетесь – даже не пытайтесь! Он сказал, что у меня невероятно фактурная внешность, и что, будь дело в Голливуде, он обязательно замолвил бы за меня словечко паре-тройке знакомых режиссеров, и нисколько не сомневается, что работа для меня обязательно нашлась бы!

– Ага, – соглашалась охотно мама. – Жаль только, что мы не в Голливуде, и вряд ли когда-нибудь туда попадем. Голливуда нет, все это выдумки, сказки, миф – ты же знаешь, любимый. Дети, давайте-ка я положу вам еще паэли!

В словах маминых далекой птицей по самому краю горизонта скользила легкая грусть. Невзирая на подписанную самим де Ниро фотографию, которую с гордостью демонстрировал домочадцам отец, Голливуд – в том смысле, какой мама вкладывала в это слово – действительно не существовал.

Папа был статен, хорош собой, начитан, не глуп, нежен, заботлив, отважен до каталонского безумия (когда-то он отбил юную французскую туристку у восьми в драбадан пьяных агрессивных немцев, в минуту разбросав их тела по пляжу, словно тряпичные куклы – так они с мамой и познакомились) – но, при всех своих достоинствах, ужасающе, вопиюще неамбициозен.

Это и вообще свойственная испанцам черта, но отец в своей пассивности переплюнул, безусловно, всех – таким уж он получился. Он мог искренне и без всякой зависти восхищаться богатством и славой очередного знаменитого постояльца; он мог наивно и совершенно по-детски мечтать о том, каких высот мог бы и сам достичь при иных обстоятельствах – но и палец о палец не ударил бы, чтобы воплотить эти мечты в жизнь.

Пуйджу отец сызмальства напоминал дорогой, выполненный по штучному заказу автомобиль, в котором прекрасно все: от тщательно выделанной кожи салона до стремительно-мощных обводов лакированного корпуса – но в котором начисто отсутствует мотор. По определению – раз и навсегда.

У мамы мотор был, но не стоит забывать: она вступила во взрослую жизнь в те времена, когда самим испанским государством женщине отводилась роль бесправного и беспрекословного придатка мужа – и долго еще ситуация оставалась таковой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.